

Яков Шехтер

Любовь на острове черте



Яков Шехтер

Любовь на острове чертей (сборник)

предоставлено правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6085784
Яков Шехтер «Любовь на острове чертей»:

Аннотация

«Это проза нетривиальная, сочетающая в себе парадоксальность мышления со стремлением глубже постичь природу духовности своего народа».

Дина Рубина

«Ко всем своим прочим недостаткам или достоинствам – дело зависит только от позиции наблюдателя – Тетельбойм отличался крайне правыми взглядами. Усвоенный когда-то на уроках ГРОБ (гражданской обороны) принцип: ни пяди родной земли врагу – он нёс сквозь перипетии и пертурбации израильской действительности, как святую хоругвь. Не разделяющих его воззрения Тетельбойм зачислял в отряд «пидарасов», а особенно зlostных, относил к подвиду «пидеров гнойных».

Все прочее человечество проходило по разряду «козлов». Будучи абсолютно убежденным в собственной правоте, он давно перестал обращать внимание на аргументы и факты, относя первые к разряду пидарастической пропаганды, а вторые к пропагандированию пидарасизма. Короче говоря, это был интересный и остроумный собеседник».

Из рассказа «Страшная шкода»

«Проходя в очередной раз по другой стороне улицы, он издали заметил толпу, собравшуюся напротив офиса. Взмолвленные зеваки плотным кольцом окружили косо припаркованную «скорую помощь» и милицескую темно-синюю машину.

– Что случилось? – спросил Праведник, перейдя улицу. Ему никто не ответил.

– Несут, – крикнул кто-то из открытой двери парадного. Толпа расступилась, и санитары деловито вытащили один за другими две пары носилок. Под окровавленными простынями угадывались очертания человеческих тел. Порыв ветра откинул угол простыни и Праведник увидел бледно-синее лицо президента. Посредине лба чернела кровавая вмятина.

– Контрольный выстрел, – прокомментировали в толпе. – Профессионал работал.

– Заказали, значит, – равнодушно согласился другой голос. Праведник резко обернулся, но не успел увидеть говорившего.

– Одни воры других уложили, – злобно бросила краснолицая бабка, плотно повязанная дешевым платочком. – Стекла-то какие отгрохали, ни стыда, ни совести. Людям есть нечего, а они, тьфу, – бабка сплюнула и растерла слюну ногой.

– Нехорошо на покойников плевать-то, – произнес тот же голос.

– На воров можно, – отрезала бабка и плюнула еще раз».

Из рассказа «Праведник»

«Когда секретарь объявил о приходе очередной посетительницы, Гевер не обратил на нее никакого внимания. Он даже не поднял голову, дочитывая срочную бумагу. Каждый день в его контору приходили десятки просителей, и все хотели поговорить именно с хозяином. Как правило, их дело заканчивалось небольшой суммой, поэтому мелкие деньги Гевер держал в выдвижном ящике письменного стола. Дочитывая письмо, он машинально выдвинул ящик и засунул в него руку.

Подняв голову, он замер с рукой, запущенной в письменный ящик. Перед ним стояла Махлат, еще более красивая, чем при расставании, а на руках у нее спало их общее дитя, маленький кудрявый демон.

– Отец давно понял, что ты догадался, – сказала Махлат. – И отправил меня к тебе.

Гевер молчал. Происходящее казалось сном, фантазией, дурной сказкой. Махлат расплакалась.

– Разве я виновата, что родилась демоном? Разве ребенок виноват, что ты его отец? И нам хочется немного любви и радости. Мы ведь тоже твоя семья!

Гевер молчал. Он ожидал чего угодно, но только не такого поворота событий. Ребенок проснулся, покрутил лобастой головой, посмотрел на Гевера и заплакал. Махлат присела на стул, не стесняясь, обнажила крепкую молодую грудь и засунула набухший сосок в ротик младенца. Он приник к ней, и принялся жадно сосать.

Тысячи разных мыслей, планов и решений промелькнули голове Гевера. Но обнаженная грудь подняла в нем волну такого безумного вожделения, что все эти планы, мысли и решения мгновенно испарились, сгинули без следа, словно морская пена под жаром полуденного солнца.

– Нам ничего не нужно, – сказала Махлат. – Разреши только поселиться в подвале твоей гасиенды. Никто про нас не узнает. Мы будем очень осторожны, мы умеем, ты ведь знаешь, кто мы.

Гевер кивнул.

Из рассказа «Бесы в синагоге, или Любовь на острове чертей»

Содержание

Торквемада из Реховота	6
Потомок Ахашвероша	23
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Яков Шехтер
Любовь на острове чертей

Посвящается Асе

Торквемада из Реховота

Сказка

Холодный ветер раздувал полы сюртука и студил спину, но Ханох не обращал на него внимания. Он стоял, упершись в каменный парапет, отделяющий площадку перед зданием ешивы от склона холма, и смотрел на крыши Бней-Брака. Вдали, неровно подрагивая красными огоньками антенн, громоздились башни и параллелепипеды тель-авивских небоскребов, а внизу, сразу за двадцатиметровым скатом, начинался пестрый клубок черепичных крыш, бойлеров и мачт электрической компании.

До женитьбы Ханох прожил в Бней-Браке пять лет и память о тех годах, поначалу горьких, а затем постепенно наполнявшихся медовой сладостью удачи, до сих пор дрожала где-то глубоко внутри, словно заключительный аккорд фортепианной сонаты. Он часто приходил сюда, сначала, когда учился в ешиве, а потом в перерыве между заседаниями суда. Глаза, расплюснутые непрерывным разглядыванием букв, буквочек и буковок в толстенных томах Талмуда и раввинских респонсах, требовали отдыха, а простор, открывавшийся сразу за парапетом, успокаивал и лечил. Событие, перевернувшее всю его жизнь, тоже случилось здесь, на площадке перед зданием ешивы.

Ханох хорошо помнил тогдашнее отчаяние и злость, но, если бы можно было вернуться в ту неустроенность, он бы немедленно бросил нынешние благополучие.

«Благополучие! – Ханох горько усмехнулся. – Покой! Впрочем, до недавнего времени так и было.

Перед его мысленным взором предстало лицо жены. Он вспомнил ее улыбку, ее мягкое, желанное, единственное в мире разрешенное ему тело и застонал, вцепившись пальцами в твердый камень парапета. Десять лет прошло со дня их свадьбы, четырех детей родила Мирьям, а Ханох по прежнему желает ее и с волнением ждет того момента, когда в ночной тишине, заливающей квартиру до самого потолка, можно тихонько опустить ноги на пол и пойти к ней, ненаглядной и ласковой. Но теперь это стало невысказанным, невозможным: то, что разделило их – больше чем смерть, ведь за порогом небытия души любящих супругов снова встречаются, а с ними этого не произойдет.

В Израиль Ханох попал двадцати трех лет отроду. После службы в Советской армии он вернулся в свой маленький городок на Полесье, поработал столяром, автомехаником, помощником библиотекаря и, взлетев, вместе со многими на гребень отъездной волны, оказался в Тель-Авиве. Родители от него многого не ждали: всей предыдущей жизнью Ханох доказал, что способен в любой момент выкинуть самый замысловатый фортель, поэтому можно было устраиваться хоть и с нуля, но зато по собственному представлению и вкусу.

Немного поработав механиком в маленьком гараже южного Тель-Авива, он как-то от нечего делать забрел в синагогу, оказался на лекции бней-бракского раввина и пропал. Лекцию раввин читал «оф идиш», а этот язык Ханох любил больше всего на свете. В его городке на идиш говорили не стесняясь, во весь голос и до шести лет Ханох вообще не знал, что существуют другие языки. В школе ему пришлось довольно туго, однако русский он выучил быстро, уже к третьей четверти обогнав в скорости чтения своих одноклассников. Так же быстро он, спустя несколько лет, выучился читать на идиш и стал завсегдатаем еврейского отдела городской библиотеки.

Вообще, к языкам Ханох питал особое пристрастие, и даже мечтал пойти учиться куда-нибудь, где занимаются языками, но как-то не сложилось. Родители отнеслись к его мечтам с недовольством, предпочитая видеть сына рабочим с хорошей специальностью в руках, чем

интеллигентом с непонятной профессией. Наверное, назло им Ханох и менял работы одну за другой.

Подойдя к раввину после лекции, Ханох обратился к нему на идиш. Через пять минут разговора раввин воскликнул:

– Как давно я не слышал такой красивый и богатый язык! Чем вы занимаетесь в жизни, молодой человек?

Услышав слово «гараж» раввин поморщился.

– У меня в ешиве открывается группа, которая будет учиться на идиш. Жилье и стол мы обеспечиваем. Хотите?

– Хочу! – воскликнул Ханох, еще не понимая, что с этой секунды в его жизни наступают огромные и необратимые перемены.

Учиться оказалось интересно и легко. Поначалу Ханох купался в идиш, словно в бассейне с драгоценным вином, то, погружаясь в него по самую макушку, то, смакуя каждый глоток, а то, просто отдыхая, блаженно покачиваясь на мелкой волне речи. Быстро выяснилось, что, помимо идиша нужен еще иврит. Он раскрылся перед ним, точно дамская сумочка под пальцами карманника. Иврит Ханох не учил, а вспоминал, словосочетания и деепричастные обороты сами собой всплывали из глубин подсознания. Когда дело дошло до Талмуда, и пришлось осваивать арамейский, Ханох напятил его, как напяливают перчатку на растопыренные пальцы, потом стащил, крепко уцепившись за сказуемые, и вывернул наизнанку. Внимательно рассмотрев швы, там, где арамейский пересекался с ивритом или напоминал идиш, он надел его обратно с тем, чтобы уже никогда не снимать, и пользоваться им точно родным, выученным в детстве языком.

Самые замысловатые рассуждения в Талмуде Ханох разгрызал играючи. Его истосковавшийся по делу мозг работал, будто хорошо смазанная машина, не давая ни одного сбоя. Раввин и преподаватели дивились на необычного студента.

– Наверное, у тебя в роду был какой-то скрытый праведник, – сказал как-то Ханоху раввин. – Благодаря его заслугам ты так стремительно продвигаешься в учении.

Ханох промолчал. Он то был уверен, что продвигается благодаря собственному старанию. Заслуги предков, конечно, полезная вещь, но если не сидеть над книжками по шестнадцать часов в день, никакие заслуги не помогут.

Через два года он вышел на уровень нормального студента, занимавшегося Учением с трех лет: сначала в хедере, потом в подготовительной ешиве, а затем в нормальной, для юношей. Еще через два года пришла пора определяться, и вот тут для Ханоха наступило время страшного разочарования.

Перед ним открывались два пути: продолжить учиться, получая нищенское пособие, или искать преподавательскую работу в системе ешив. На жизнь профессионально изучающих Тору он посмотрелся за годы в Бней-Браке и такая участь ему казалась не наградой, а наказанием. В домах этих «ученых» были только книги и дети; единственная мебель – длинный обеденный стол, вокруг которого по субботам и праздникам собиралась вся семья, и книжные шкафы – находилась в салоне. Во всех остальных комнатах кроме простых кроватей и дешевых платяных шкафов царила абсолютная пустота. Дети делали уроки в салоне, гостей принимали в салоне, читали по вечерам тоже в салоне.

Питались семьи «ученых» сосисками из сои и дешевыми овощами, а по субботам – чолнтом из индюшачьих горлышек. Одежду покупали один раз в год, к Песаху, и чинили, тянули до следующего года. Сапожные мастерские, ремонтирующие обувь, остались только в религиозных районах, весь остальной Израиль изношенную обувь попросту выкидывал, покупая новую.

Нет, такая скудная жизнь Ханоха не привлекала, и он попытался найти работу преподавателя. В своей ешиве, одной из самых сильных в Бней-Браке, он состоял на хорошем

счету, поэтому шансы отыскать хоть какое-нибудь место, по мнению Хануха, были довольно высоки. Он начал ездить на собеседования с будущими работодателями и быстро обнаружил, что, несмотря на самый радушный прием и весьма лестные оценки, принимать на работу его не собираются.

Загадку он решил стоя в один из вечеров возле любимого парапета и любуясь, игрой солнечных бликов в стеклах домов Рамат-Гана, он вдруг сопоставил, кто получил в итоге те места, куда он стремился попасть и задохнулся от гнева. Все выглядело элементарно: на мало-мальски хлебные должности принимали представителей известных в Бней-Браке семей. Многочисленные дети и внуки раввинов, отпрыски хасидских Ребе, племянники председателей раввинских судов. Как и в оставшемся далеко за бортом Советском Союзе, хорошая работа доставалась исключительно по знакомству. Он, одинокий новичок, мог рассчитывать только на похвалы и одобрения, но делиться куском пирога с ним не собирались.

Переведя дыхание, Ханух стал соображать, как же все-таки обойти препятствие. В конце концов, ему нужно лишь одно место, неужели система круговой поруки не может хотя бы раз дать сбой.

– Это можно устроить, – раздался голос за спиной и Ханух, вздрогнув, обернулся.

Секретарь главы ешивы смотрел на него, улыбаясь, и склонив голову набок. Из-за врожденного дефекта позвоночника он ходил, наклоняясь в одну сторону, и, разговаривая, искоса поглядывал на собеседника, словно подозревая его в тайных грехах. Про себя Ханух называл секретаря «Набоков».

Кличка родилась после того, как Ханух, прячась в туалете, прочитал «Лолиту». Об этой книжке он слышал восторженные «ахи» и «охи» сверстников еще в Союзе, но в руки к нему она так и не попала. А тут, в Израиле, проходя по каким-то делам по улице Рамат-Гана, он увидел «Лолиту» в витрине книжного магазина и не удержался. Мало подходящее чтение для ешиботника, но что поделать, у каждого есть свои слабости. Главное, Ханух не потратил на нее ни минуты, подходящей для учения Торы, ведь в туалете нельзя даже думать о святом. А «Лолита»... такой литературе самое место неподалеку от унитаза.

Муки и тревоги Гумберта вызывали у Хануха глубочайшее презрение. Вместо того, чтобы бороться с дурным влечением, бороться и победить, Гумберт с радостью вывесил белый флаг и поплыл по течению. А мелкий бес, сидящий в каждом человеке, как написано в книгах, не знает ни жалости, ни пощады. Противостоять ему может только гладкая, словно стекло, стена сопротивления. Даже микроскопической трещинки хватит мелкому бесу, чтобы зацепиться, пустить корни, а затем развалить неприступную стену на махонькие камешки.

Мысли о происходившем между Гумбертом и Лолитой не пробудили в Ханухе спящее желание. Влечение к женщине никогда не занимало его мысли, а если и поднималась от паха щемящая волна дрожи, он без труда загонял ее обратно. Перевалив двадцатипятилетний рубеж, Ханух оставался девственником и это, невероятное для кого-нибудь другого состояние, далось ему легко, словно подарок.

В Советской армии он как-то попал вместе с приятелями по взводу на пьянку с веселыми и, по словам приятелей, доступными бабенками. Одна из них, краснощекая крановщица, принялась охаживать Хануха. Подкладывала ему на тарелку кусочки повкуснее, смеялась, откидывая голову и мелко тряся грудями под обтягивающей кофточкой. Фильтр ее сигареты был испачкан огненно-красной помадой, и курила она без остановки.

Ханух ненавидел запах сигарет и постоянно ссорился с соседями по казарме из-за их тайного курения в постели. Но ругаться с женщиной, тем более в такой ситуации он не хотел и поэтому лишь морщился, отворачиваясь в сторону. Крановщица расценила его гримасы по-своему.

– Что молчишь, солдатик? – спросила она, быстрым движением проведя ладонью по стриженной макушке Ханоха. – Так бабу хочешь, что скулы свело? Ну, пойдем, пойдем потанцуем.

Во время танца она прижалась грудью к Ханоху и принялась тереться низом живота о его бедро. Организм моментально воспрянул и Ханох почувствовал, как крепнет и наполняется мужское естество.

Если до этого момента Ханох с трудом выносил грубые ухаживания крановщицы, то столь откровенные жесты вызвали в нем возмущение. Он оттолкнул женщину, выскочил из полутемной комнаты в ярко освещенную прихожую, кое-как набросил шинель и выбежал из дома.

Дочитав «Лолиту», Ханох запаковал книжку в несколько супер-маркетовских пакетов так, чтобы не видно было названия, и выбросил в ближайший мусорный ящик. Однако с тех пор секретаря ешивы, припадающего во время ходьбы на один бок, он стал мысленно называть «Набоковым».

– Устроить? – повторил «Набоков».

– А как вы подслушали мои мысли? – спросил Ханох.

– Пойдем ко мне в офис, – предложил «Набоков». – Там все расскажу.

Он повернулся, и даже не взглянув, отозвался ли собеседник на его предложение, захромал к зданию ешивы. Ханох пошел следом. Терять ему было нечего.

Кабинет секретаря располагался на третьем этаже, вдали от главного зала и вспомогательных классов. В нем царили идеальные чистота и порядок. Каждая вещь в кабинете лежала строго на своем месте, и казалось, будто ее специально изготовили для того, чтобы она пребывала именно там. «Набоков» вскипятил чайник, ловко заварил два стакана кофе, поставил один перед наблюдавшим за его действиями Ханохом, пробормотал благословение, и с удовольствием отхлебнул.

– Видишь ли, – сказал он, откидываясь на высокую спинку кресла, – дело в том, что я – черт.

– Кто-кто? – переспросил Ханох, не веря своим ушам.

– Черт, – повторил «Набоков». – Самый настоящий черт.

Он с улыбкой смотрел на вытянувшееся лицо Ханоха.

– Я не шучу, – продолжил «Набоков». – Ты хочешь доказательств? Пожалуйста.

Он щелкнул пальцами и дымок, выходящий над стаканом Ханоха вдруг перестал подниматься вверх, а начал завиваться в причудливые спирали. Перед глазами Ханоха повисла трепещущая, зыбко плывущая надпись: «Лолита». «Набоков» еще раз щелкнул пальцами, и дымчатое слово растворилось, пропало, словно и не было его никогда.

– А ты думал, – продолжил меж тем «Набоков», – что я появлюсь перед тобой с хвостом навыпуск и рогами наперевес? Мы идем в ногу со временем и говорим с каждым на понятном ему языке.

Он отхлебнул еще раз из стакана и лукаво усмехнулся.

– Кто не знает идиш, тот не еврей?

Это было любимое присловье самого Ханоха. Кто-то сказал ему, будто эти слова принадлежат Голде Меир, и он повторял их при каждом удобном случае. И хоть его товарищи, родившиеся и выросшие в Израиле, объясняли, что здравомыслящий политик не позволит себе такого высказывания в стране, где половина населения приехала из арабских стран, Ханох не отказывался от любимой поговорки. Сам «Набоков» изъяснялся на красивом венгерском диалекте идиша – так говорили евреи Трансильвании.

– Итак, я могу составить протекцию на хорошую должность. Скажи, что тебе по душе, а остальное предоставь мне.

Слово «душа» в устах «Набокова» звучало подозрительно. Черт понял, и тонкая улыбка зазмеилась по его губам.

– Не волнуйся. Душа твоя мне не нужна. Мне от тебя вообще ничего не нужно.

– Тогда зачем вы это делаете? – спросил Ханох.

– Из чистого альтруизма. Не думай, будто бескорыстность – качество, присущее только человечьим особям. Нам тоже присущи сердечность и милосердие. Помнишь, у классика: «я сила, что творит добро, всегда желая зла». Но с той поры много воды утекло. Сегодня мы и творим добро, и желаем добра.

Ханох усмехнулся.

– Дьявольская сила добра. Верится с трудом.

– А это уж, как угодно. Вера, она свойство души. Снаружи не привносится. Но могу открыть секрет, – «Набоков» осушил стакан и облизнулся. По-детски розовый язык выглядел странно под черными с проседью усами. – Мне скучно здесь. А скука, величайший двигатель, и не только у людей.

– Скучно? – удивился Ханох.

– Да, скучно. Что такого может учудить нечистая сила в Бней-Браке? Ну, разве оторвать раввина от учения мыслями о субботнем чолнте, или подсунуть ешиботнику соблазнительную книжицу! – «Набоков» выразительно посмотрел на Ханоха

– Так это ваша работа!

– Моя! – с гордостью ответил черт. – Ты мой успех, первая ступенька. Если и дальше так пойдет, глядишь, перекинут в Тель-Авив, или даже в Испанию, уличать маранов и соблазнять честных католиков.

– Разве там еще остались мараны?

– Уже нет, но для нас время не имеет значения. Все происходит сейчас: и костры инквизиции и крестовые походы, и плавание Колумба. Мы можем попасть в любую точку места и времени. Наша роль в истории неоценима, безмерна. Больше того, без нас никакой бы истории вообще не было. Сидели бы люди по своим домишкам, довольствуясь черствым куском хлеба, одной переменной одежды и одной женщиной. Но приходим мы, и вдруг все начинает крутиться с бешеной скоростью. Скажу без ложной скромности, истинный двигатель прогресса – это мы. Зачем далеко ходить за примером, – «Набоков» снова высунул длинный розовый язык и облизнул губы, – вот ты. Что тебя ждет кроме бесконечных дней над книгами и холодных вечеров рядом с недовольной женщиной. Что ты можешь дать другому человеку? Что у тебя есть за душой? Знание раввинских респонсов? Им не накормишь детей. А, ты хорошо разбираешься в талмудических спорах! Замечательно! Иди, купи на них новое платье для жены. Я предлагаю тебе помощь, практически бескорыстную. Ты будешь учить Тору, и жить безбедно. И все благодаря моей скуке.

– И все же, какова цена этой «бескорыстной» помощи?

«Набоков» обиженно взмахнул рукой.

– Чисто символическая. Можно сказать, вообще без цены. Я просто обязан заполнить соответствующую графу в ведомости. У нас, – он тяжело вздохнул и посмотрел вниз, – такие развелись крючкотворы, такие формалисты, такие чинодралы – настоящие дьяволы, провалились они в преисподнюю. Впрочем, проваливаться им уже некуда, вот они и выматывают жилы у простых трудовых чертей бесконечными отчетами и квитанциями.

– Так о чем идет речь? – настаивал Ханох. – Назовите цену?

– Пустяки. Пару-тройку гойских душ.

– Тройку гойских душ? Но откуда у меня души, к тому же гойские. Вы меня с кем-то путаете.

– Конечно, ниоткуда. Я же тебе сказал, что это пустая формальность. Нужно лишь твое согласие, а души я достану совсем в другом месте.

Смотаюсь, – он подмигнул Ханоху, – на центральную автобусную станцию и там, в массажных кабинетах, разживусь хоть десятком.

– Чушь какая-то! – воскликнул Ханох. – Ерунда на постном масле. Наверно я просто сплю, и этот разговор мне снится.

– Жизнь моя, – мечтательно продекламировал «Набоков», – иль ты приснилась мне? Вот он, между прочим, был куда покладистей тебя.

– Кто это, он?

– Сергей Александрович. Но не это важно. И не важно, как ты обозначишь свою реальность: сон ли, явь ли, главное – преуспеть в ней. И в этом я могу тебе помочь за символическую плату.

– Хорошо, – неожиданно для самого себя произнес Ханох. – Расплата гойскими душами. Прямо по Гоголю. Бери хоть пяток, не жалко. Но только ими и больше ничем.

– Конечно, – воскликнул «Набоков». – Пяток, так пяток, и уговор дороже денег. Слово черта – золотое слово.

– Договор будем подписывать кровью? – спросил Ханох.

– Ну, зачем же. – «Набоков» рассмеялся. – Кровь, факелы, пещеры, осиногие колышки... Вся эта романтическая атрибутика себя изжила. Сегодня не нужно забивать голову подобной архаикой. Достаточно, что ты скажешь «да».

– Да, – сказал Ханох.

– Вот и прекрасно. Возвращайся домой и ни о чем не думай. Все пойдет само собой, без вмешательства потусторонних сил и чудес. Живи, как жил. А через полгода остановись и оцени, что произошло.

Вернувшись домой, Ханох долго не мог заснуть. Происшедшее казалось ему сказочной историей из еврейского фольклора. Ешиботник, заключивший сделку с чертом... Нет, это просто бред. Наверное, он заснул, прислонившись к парапету. Или того хуже, возможно, в нем поселилась болезнь, и случившееся – галлюцинация, отключение мозга. Рассказать о случившемся товарищам по ешиве Ханох не решился. Засмеют. После долгих размышлений он решил оставить все как есть, а если галлюцинация вернется – немедленно обратиться к врачу. Успокоившись, он начал погружаться в дрему и уже на самой границе сна с обидой и раздражением задал себе вопрос: и за каким хреном ты ввязался в эту историю? Черт тебя дернул, что ли?

«А ведь точно, черт», – подумал Ханох, и заснул.

Назавтра жизнь покатила дальше, по привычной, крепко накатанной колее. Навалился Песах, с его безумной уборкой, выпечкой мацы, подготовкой к седеру. Потом сам праздник, потом отдых после праздника. Два месяца пронесли, точно ракеты «Кассам» над Сдеротом и Ханох забыл, выбросил из головы ночной разговор. Встречаясь иногда в залах ешивы с «Набоковым», он пытливо выискивал в его поведении хоть какой-нибудь намек, признак особой близости, его, Ханоха, посвященности в тайну, но секретарь вел себя так, словно ничего не произошло. Он невозмутимо здоровался с Ханохом, иногда задавал ему вопросы по расписанию занятий или другим мелочам, и ни взглядом, ни жестом, ни словом не выказывал особого отношения. Гладкая, как полированное железо, стена равнодушия.

«Значит, все-таки, болезнь, – решил Ханох и успокоился. Болезни, они от Всевышнего, способ испытания, проверка человека на прочность веры. С помощью молитв и врачей, с болезнями, особенно в его возрасте, еще можно совладать. А вот с нечистой силой... Нет, лучше болезнь.

В один из дней весеннего месяца ияр, когда начинают опадать нежно-фиолетовые цветы с «иудиных» деревьев, а легкую теплоту, разлитую в воздухе, потихоньку вытесняют горячие потоки подступающего лета, Ханоха вызвал к себе глава ешивы.

– Мне потребуется твоя помощь, – сказал он, указывая рукой на кресло рядом с собой. – Сейчас войдет женщина, она утверждает, будто прошла гиюр в еврейской общине Дербента. В министерстве внутренних дел проверили документы. Все в полном порядке. Но что-то показалось им подозрительным, и ее отправили к нам. Иврит она знает плохо, поэтому ты будешь переводить.

Глава ешивы заседал в раввинском суде, но рассматривал только имущественные тяжбы. Дела о гиюре, насколько Ханох знал, не входили в его компетенцию. Этими щекотливыми проблемами занимались другие раввины, ведь люди, доказывающие свое еврейство, претендовали на многотысячную корзину абсорбции и пускались на любые ухищрения, чтобы убедить суд, а для некоторых отрицательное заключение значило также высылку из страны. Дабы не терять ровного расположения духа, необходимого для преподавания Талмуда, глава ешивы выслушивал только финансовые споры. Но, видимо, кто-то из раввинов заболел, и не смог рассмотреть дело.

Женщина, вошедшая в комнату, на первый взгляд была одета в полном соответствии с религиозными правилами. Юбка ниже колен, строгие туфли, темного цвета чулки, черная шляпка, белая, в кремовых разводах, кофточка, с рукавами до запястий. Но именно в кофточке было что-то не то. Присмотревшись, Ханох понял, она сделана из прозрачной ткани и сквозь нее просвечивает кремовое белье. Появиться в таком виде на улице Бней-Брака невозможно, немыслимо. А уж явиться на раввинский суд...

Скромно потупясь, женщина положила на стол папку с документами. Ее рассказ звучал просто и убедительно. Гиюр сделал главный раввин Дербента, после двух лет испытательного срока, и теперь она снимает квартиру в Ашдоде, по соседству с религиозным кварталом и соблюдает то, что умеет. Но обещает, что будет соблюдать еще больше заповедей и предписаний.

– Ты что-нибудь слышал о главном раввине Дербента? – спросил Ханоха на идиш глава ешивы.

– Ничего.

– Я тоже. Но документы выглядят настоящими.

– Сегодня в России – сказал Ханох, – можно купить любые, самые настоящие документы.

Глава ешивы задал женщине несколько простых вопросов о правилах соблюдения субботы. Она не знала ничего. Просто ничего, абсолютно, ее ответы, произнесенные тихо, с так же скромно опущенными глазами, не содержали никакой информации, а являли собой набор слов на тему иудаизма и субботы, почерпнутый из предисловий к популяризаторским брошюрам. Однако говорила женщина очень уверенно, так, что могло сложиться впечатление, будто она рассказывает нечто, ей хорошо знакомое.

– Наверное, она больна, – предположил глава ешивы. – Не может человек настолько ошибаться.

«Нет, она не больна», – подумал Ханох, заметив, как женщина искоса бросает на них острый взгляд, и тут же опускает ресницы. И речь, лексика. Она говорила на прибалтийском грубом наречии рыночных торговцев.

Год назад, снимая квартиру для родителей, Ханох неожиданно для самого себя обнаружил огромный провал в знании иврита, пропасть, которую он вряд ли когда-нибудь сможет преодолеть. Он сидел в очереди, дожидаясь пока квартирный маклер закончит разговор с клиентами. Разговор велся на иврите, и Ханох отчетливо слышал русский акцент маклера, автоматически отмечал ошибки в построении фраз и произношении. Для самого Ханоха этих проблем никогда не существовало, в языке он плавал точно рыба в океане, ощущая кожей трехсложные корни и склонения. Его словарный запас был огромен, иногда, потехи ради, он перелистывал многотомный толковый словарь Эвен-Шошана в поисках новых слов. Ино-

гда ему удавалось обнаружить что-то действительно новое: Ханох знал почти все, а то, чего не знал, легко понимал из контекста.

Слушая краем уха разговор, он отметил про себя настойчивость маклера, присущую, впрочем, всем представителям этой профессии, и осторожное нежелание клиентов соглашаться на предлагаемый вариант. Обычная, нормальная ситуация при купле-продаже, сдаче-найме.

Но вот на место иврито-говорящей пары уселась женщина средних лет, и маклер сразу перешел на русский. Через три минуты Ханох понял – этот человек жулик и вун и с ним нельзя иметь никакого дела. Получалось, что, несмотря на весь огромный словарный запас, знание грамматики и правильности произношения он не мог, не умел воссоздать по интонации и лексике психологический портрет говорящего. Для этого надо было прожить на иврите целую жизнь, вырасти с ним, обжечься и набить шишки, и лишь потом научиться делать то, что на русском у него получалось автоматически, на уровне чувства, а не анализа. Молча встав, он вышел из конторы и пошел к другому маклеру.

Женщина врала, это было очевидным, но в чем состоял подвох, где пряталась ложь, он не мог уловить. И тут Ханоху пришла в голову блестящая идея.

– Послушайте, – сказал он женщине по-русски. – Документы у вас в порядке, и рассказ производит впечатление правдивого. Осталось уточнить кое-какие подробности. Но предупреждаю, – Ханох указал подбородком в сторону главы ешивы, – вам нельзя будет ошибиться, иначе... В общем, постарайтесь припомнить самые мелкие детали.

Женщина согласно закивала. Ханох перешел на иврит.

– Итак, во время процедуры гиюра перед вами стоял раввин с двумя свидетелями. В руках у раввина была большая серебряная ложка. Скажите нам точно и постарайтесь не ошибиться, потому, что ошибка может испортить все дело: кто обрызгал вас водой из ложки, раввин или свидетели?

Женщина на секунду задумалась, а затем быстро и решительно произнесла по-русски:

– Та я ж помню, как сейчас. Попервой раббин плескнул, а за ним друзья евонные, а потом снова раббин.

Ханох перевел.

Глава ешивы поднес руку ко рту и принялся, пряча улыбку, приглаживать усы.

– Спасибо, – сказал он, не опуская ладонь, – я позвоню тому, кто вас направил и сообщу ему свое решение.

– А когда? – нетерпеливым тоном спросила женщина.

– В ближайшее время.

Выходя из кабинета, женщина обернулась и прошипела в лицо Ханоху.

– Ссученная тварь. Гнида.

– Что она сказала? – спросил глава ешивы

– Поблагодарила за особое отношение.

Через неделю Ханоха снова пригласили участвовать в подобном разбирательстве, но уже к даяну – постоянному члену раввинского суда, который действительно заболел и на несколько дней передал свои дела главе ешивы. Этот случай был проще – опрашиваемый – мужчина лет сорока моментально запутался в родственниках со стороны отца и матери, а в конце разговора, в качестве доказательства своей принадлежности к евреям, рассказал, как его бабушка зажигала перед началом субботы лампадку в красном углу избы.

После разбора четвертого или пятого дела даян велел Ханоху принести документы и оформиться в качестве помощника судьи на треть ставки, а через месяц на его счете в банке оказалась скромная, но по сравнению с грошовым содержанием ешиботника, вполне внушительная сумма. Работа Ханоху нравилась, было что-то шерлок-холмовское в расспрашивании истца, в попытке по едва уловимым следам подлинных событий восстановить истинную

картину. Большинство приходящих на выяснение национальности были евреями, у которых по разным причинам пропали документы. У второй по численности категории истцов, родители, путем немалых ухищрений, сменили клеймо в паспорте на запись «белорус» или «украинец». К таким людям Ханох испытывал плохо скрываемое презрение. Однако порученное ему дело выполнял добросовестно, стараясь отделять личное отношение от истины, заключенной в рассказах родственников, к которым направляли его ренегаты.

У настоящих евреев всегда оказывались многочисленное родство, разбросанное по всему земному шару. Звонить приходилось в Россию, Австралию, Соединенные Штаты, Канаду и даже в такие экзотические страны, как Панама или Южная Африка. Еврейский мир оказался на удивление маленьким: буквально на втором или третьем шаге расследования Ханох выходил на друзей детства, одноклассников или сослуживцев истцов. Можно было подделать документы, купить настоящие метрики, выучить несколько религиозных обычаев, но договориться с разными людьми на разных континентах было не под силу самому ловкому пройдохе.

Но главным, подлинным критерием оказалась эвакуация. Если проверяемый на вопрос: – где проживала ваша семья во время войны, – называл местность, находившуюся под немецкой оккупацией, Ханох сразу понимал, что перед ним обманщик. Для этого ему пришлось изрядно попотеть над атласом бывшего СССР, запоминая названия городов и местечек. Если же истец называл какой-нибудь среднеазиатский город, то следовала серия вопросов о пунктах следования, о том, как и сколько добирались, о быте на новом месте. Как правило, в семьях прошедших через эвакуацию, на несколько поколений сохранялись рассказы о происшедшем.

Сам Ханох отчетливо помнил истории своей бабушки про многодневное странствие до железнодорожной станции, откуда еще ходили поезда, о двухнедельной поездке в теплушке, почти без воды и пищи. Особенно запомнился ему эпизод про отца бабушки, его прадеда, очень религиозного еврея. Он ел только кошерную пищу, и когда прихваченные с собой припасы кончились, несколько дней голодал. Их эшелон остановился в открытой степи и стоял в ней почти трое суток. Закончилось все съестное, люди рвали траву и варили суп, от которого начинался понос. Когда поезд все-таки тронулся с места, бабушка на первой же станции обменяла свои часы на большой кусок сала. Она была уверена, что отец даже не посмотрит на свинину, но когда тот протянул руку и взял кусочек, она испугалась.

– По дороге эшелон бомбили, – рассказывала бабушка, – но истощные гудки паровоза и разрывы бомб не пугали. Мне казалось, будто я смотрю кино. Кусочек сала, съеденный отцом, привел меня в ужас. Лишь тогда я поняла, что наша жизнь в большой опасности.

Дети и внуки эвакуированных могли моментально выложить не вызывающие сомнения подробности, обманщики же начинали травить байки, в которых сквозь тонкий слой маскировки просвечивала наглая ложь.

Ханох основательно проштудировал виды документов, выдававшихся в СССР, научился отличать подлинный бланк от поддельного, знал наизусть правила заполнения паспортов и метрик. Он запомнил фамилии паспортисток и заведующих Загсами в еврейских местах, и мог по оттенку чернил определить, когда была поставлена печать на документе.

Через год помощник реховотского даяна сдал экзамены и получил назначение судьей в Беер-Шеву, а Ханоха перевели в Реховот и положили полную ставку. Это было уже что-то, полная ставка означала настоящую, увесистую зарплату, под которую можно было брать ссуду в банке, покупать квартиру и жениться.

Прежде чем перебираться в Реховот, Ханох решил разобраться с семейным вопросом. Если уже селиться на новом месте, то сразу с женой и устраивать быт на двоих. Ханох отправился к известной всему Бней-Браку свахе и объяснил, чего ждет от будущей невесты. Сваха

улыбнулась; запросы Ханоха показались ей более, чем скромными. Немного поколдовав над картотекой, она дала ему телефон и назвала имя – Мирьям.

Кандидатка жила в общежитии для иногородних девушек при учительском семинаре «Зеев». На семинар принимали девушек из самых крепких религиозных семей, и само название учебного заведения служило визитной карточкой. Мирьям приехала в Израиль всего три года назад из Белоруссии, попасть после такого короткого пребывания в стране в «Зеев» можно было только чудом. На первую встречу Ханох шел с большим любопытством, ему не терпелось понять, чем смогла эта девушка покорить суровые сердца экзаменаторов.

Мирьям оказалась невысокой брюнеткой хрупкого сложения, черты лица у нее были скорее славянские, чем еврейские, но поздоровалась она на идиш, и Ханох от неожиданности ответил ей по-русски.

– Не надо по-русски, – мягко попросила Мирьям. – Если вы не можете оф идиш, давайте будем говорить на иврите.

– Я знаю, знаю, – обрадовано зачастил Ханох.

Они проговорили около двух часов. Словарный запас Мирьям был невелик, да и обороты из самых примитивных, но изъяснялась она легко, словно дышала. «Так говорят только на языке детства», – подумал Ханох и понял, что растопило лед приемной комиссии.

Спустя полгода, когда Мирьям сдала выпускные экзамены в семинаре и получила диплом учительницы младших классов, они поженились и переехали в Реховот. Решение Ханоха оставить учебу очень расстроило главу ешивы.

– Ты один из моих лучших учеников, – сказал он, – и мог бы достичь многого. У тебя светлый ум и прекрасная память. Пусть чиновничьи обязанности исполняют менее способные люди, а ты должен учиться.

«И лопать чолнт из индюшачьих горлышек», – подумал Ханох. – «Нет уж, спасибо, по горло сыт».

– Я не оставлю учение, – заверил он главу ешивы. – До обеда буду сидеть в суде, а потом над Талмудом.

Глава ешивы только скептически улыбнулся.

Квартиру Ханох и Мирьям купили в религиозном районе на краю города, и до суда приходилось добираться пешком. Но Ханох не жаловался, ведь после свадьбы его вес стал увеличиваться с угрожающей быстротой и дальние прогулки до центра Реховота хоть немного, но способствовали поддержанию формы. Мирьям готовила очень вкусно: она варила густой борщ, набиравший силу к третьему дню, пекла пышнейшие пироги с мясом и рыбой, а от ее блинов Ханох не мог оторваться, пока тарелка не становилась пустой и безвидной, словно земля в первый день творения.

С утра Ханох сидел в суде, но после обеда, по заведенному в этом учреждении порядку, должен был учиться. Считалось, что помощник судьи «спит и видит» усесться в судейское кресло, и потому грызет необъятную глыбу закона с обеда и до самого вечера. Должность судьи, помимо почета и уважения, сопровождалась очень солидным жалованьем.

Поначалу Ханох искренне хотел выполнить обещание, данное главе ешивы, и навалился на Талмуд с прежним рвением. Но спустя неделю он вдруг почувствовал, что внутренняя злость, заставлявшая его проводить ночи над книжками, бесследно пропала. Он сопротивлялся, заставляя себя отсиживать часы на лекциях, а потом углублять услышанное, закапываясь в самую гущу книжной премудрости, но без давления изнутри, без запала, заставлявшего двигаться стынувшие мысли, понимание не приходило. Любая мелочь вырывала его из текста, о сосредоточенном внимании, когда окружающая действительность отступала в сторону и на первом, втором, третьем и всех остальных местах оставалась только раскрытая страница Талмуда, оставалось лишь мечтать. Что-то изменилось в Ханохе, ушло и не желало возвращаться.

Были тому причиной счастливая семейная жизнь, близость с любимой женщиной, перемена в питании, или, необходимость отдавать лучшие, утренние часы дня, на судебные разбирательства – кто знает. Спустя несколько месяцев Ханох сдался, и вместо ешивы стал приходить в «Ноам Алихот» – синагогу для простого люда, расположенную неподалеку от здания суда. Он обкладывался книгами и потихоньку читал, выбирая самые интересные места в Талмуде и раввинских респонсах. Десятки томов Талмуда и сотни сопутствующих ему книг таили в себе все жанры литературы, от фантастики до детектива. Нужно было отыскать место, войти в разбираемый вопрос, а дальше только следить за перебранкой комментаторов. Их споры напоминали Ханоху спортивные поединки: резкие, напоминающие фехтование, выпады, головокружительный полет мысли, сравнимый с акробатикой, переброс темы, словно баскетбольного мяча, от одного комментатора к другому, через сотни лет и тысячи километров.

Его никто не торопил, и он приятно проводил время в уютном зале «Ноам Алихот». Мирьям преподавала в школе, потом спешила домой к детям, по дороге успевая заскочить в магазины. Они взяли подержанный автомобиль, но Ханох так и не удосужился сдать на права. Зачем, ведь детей в садик отвозит Мирьям, за покупками тоже она ездит, а права и уроки вождения стоят так много денег!

В его дела Мирьям не вмешивалась. Лишь однажды между ними произошел разговор, после которого Ханох долго не мог успокоиться. В один из дней к нему попало дело целого семейства из Белой Церкви. У него не было ни малейшего сомнения, в том, что все они чистокровные украинцы, но документы семейство представило без сучка и задоринки, имена и фамилии родственников называло не путаясь, и вообще свою версию излагало уверенно и даже нахально. Однако провести Ханоха было невозможно! Годы постоянного поиска доказательств, изучения паспортов, разглядывания фотографий и многочасовых бесед с просителями, выработали в нем безошибочное чутье. Он мог, мельком взглянув на человека, точно определить его национальность, а в последнее время ему хватало для этого всего двух фотографий: в анфас и профиль.

Родной дядя из Кливленда, чей телефон был приложен к делу, сильно картавил, и старательно копировал идишистский акцент, вставляя к месту и не к месту слова на явно чужом ему языке. Ханох попросил у семейства отсрочку в пару дней, позвонил в еврейскую общину Кливленда и попросил выяснить, кто проживает по такому-то телефону. Уже на следующий день ему прислали факс, из которого следовало, что родного дядю зовут Тарас Юхимович Остащенко, и что он актер украинского театра Кливленда.

Следующую встречу Ханох начал с приглашения от Тараса Юхимовича на премьеру спектакля «Кляти москали». Глава семейства не сдержался, и между ним и Ханохом завязался интереснейший разговор. В качестве заключительной фазы разговора министерство внутренних дел передало в полицию дело о высылке незаконных репатриантов.

Когда семейство благополучно приземлилось в Харькове, Ханох рассказал эту историю Мирьям. Он хотел ее немного развеселить, ну и заодно похвастаться своей проницательностью.

– Тебе их не жалко? – вдруг спросила Мирьям.

– Жалко? – удивился Ханох.

– На Украине сейчас дела плохи, эти люди, скорее всего, влезли в долги, чтоб попасть сюда. Долги теперь отдавать нечем, а прощать такие суммы им никто не станет. Ты можешь себе представить, что их ждет в Белой Церкви?

– И представлять не собираюсь – отрезал Ханох. – Эти люди жулики и попали сюда обманым путем. Почему я должен их жалеть?

– Евреи уходят из России. Но не может один народ чисто выйти из среды другого. Всегда тянутся родственники, знакомые. И жулики, конечно. За столько столетий русские, евреи,

украинцы, белорусы переплелись, связались друг с другом. В конце-концов, наши предки прожили вместе с ними долгую историю. Есть в ней темные страницы, есть светлые. Почему же ради светлых не пожалеть тех, кто пытается прибиться к нашему берегу? И сколько их, сто семей, триста?

– Ты что, – Ханох обалдело посмотрел на Мирьям. – Принимаешь меня за Г-спода Б-га? Ты хочешь, чтобы я восстанавливал историческую справедливость в память о добрых украинцах и жалостливых русских? Я всего лишь клерк, чиновник, делаю свое дело. Если буду его делать плохо, останусь без зарплаты. На что детей кормить будем?

– Прокормим, какнибудь, – тихо сказала Мирьям.

– И вот еще что, – продолжил Ханох, не обратив внимания на ее слова. – Мне все детство жужжали о великом русском народе, о его мировой культуре, о могучем языке, о древней истории, замечательных традициях. Русский – звучит гордо! Уши замусорили народными частушками, пересвистом, треском ложек и трелями балалаечными. И вот теперь представители великого народа с такой легкостью, с такой простотой отбрасывают культуру и традиции к чертям собачьим и хотят любым путем стать евреями? Их что, на костер потащат? На работу не примут? Высылают из страны единицы, большинство прекрасно устраивается, в армии служат, деньги зарабатывают. Кто же мешает им оставаться русскими или украинцами? Для чего с такой быстротой нужно мимикрировать? Нет, им хочется, чтобы детям обрезание сделали, а свадьбу провели через раввинат. Им хочется быть, как все, понимаешь, как все. А все в этой стране – презируемый прежде народец – жидки пархатые, и представители великой нации стремительно бросаются под нож, выставя необрезанные концы! Стыдно, обидно и противно!

– Торквемада ты мой, – усмехнулась Мирьям.

– Почему Торквемада?

– Есть легенда, будто великий инквизитор сам происходил из крещеных евреев. И мстил соплеменникам, предавшим веру отцов. Вот и ты, вступаешься за великий русский народ и его культуру.

– Ничего я не вступаюсь, – буркнул Ханох. – И русской крови во мне ни капли. Я из рода первосвященников, коэнов. Мой пра-пра-пра уж не знаю, какой дед – сам Аарон, брат Моисея. Когда мои предки служили в Храме, предки русских гонялись за мамонтами с деревянными дубинами в руках.

На том разговор и закончился. Прошло много лет, дети подросли, стали ходить в школу. Поток репатриантов не ослабевал и для быстрого решения вопросов установления национальности, при реховотском суде открыли специальное отделение а во главе поставили Ханоха. Не сдав экзамены, он фактически стал исполнять обязанности судьи. Должность так и называлась – исполняющий обязанности даяна, но жалование положили полновесно-судейское. Уже через два месяца Ханох почувствовал вкус настоящей жизни, ибо зарплата его исчислялась уже не тысячами, а десятками тысяч шекелей. Однако счастливыми послеобеденными часами в «Ноам Алихот» пришлось пожертвовать, ведь Ханох теперь стал начальником, и помимо рассматриваемых дел прибавились административные проблемы.

Единственное, что осталось по-прежнему – это пешие прогулки. Они прочно стали частью ритуала, заведенного распорядка жизни и без них Ханох чувствовал себя не в форме. Во время такой прогулки дорогу Ханоху преградил рыжий Мишка – известный всему Реховоту городской сумасшедший. Определить его ненормальность можно было лишь по размашистым, неэкономным движениям. Во всём остальном он вполне походил на обыкновенного израильянина, разве что чуть менее аккуратного.

Откуда он родом, невозможно было установить, Мишка свободно изъяснялся на всех известных и неизвестных языках, причём без акцента. Выходцы из Ирака принимали его за уроженца Багдада, с кишинёвцами он говорил на красивом румынском, а бывшим жите-

лям Нью-Йорка, Мишка, загородив дорогу велосипедом, читал наизусть сонеты Шекспира. Вежливые «американцы» учтиво молчали, но через десять минут их вежливости приходил конец. Мишка не обижался, а только звонил вдогонку в один из многочисленных звонков, закрепленных на никелированных рогах руля.

В субботу и праздники Мишка объезжал Реховот и, осторожно позванивая в самый деликатный из звоночков, вполголоса кричал:

– Реховот, просыпайся! Спящие, очнитесь! Бредущие во тьме – открывайте глаза!

Проезжая мимо, он заговорщицки подмигивал, и Ханоху намгновение начинало казаться, будто Мишка ведёт какую-то непонятную игру, а велосипед его, увешанный кучей безделушек и детских башмачков, не более, чем замысловатый маскарад.

На сей раз, подмигиванием дело не ограничилось, Мишка объехал Ханоха, соскочил с седла и, развернув велосипед, перегородил дорогу.

– Самое дорогое у человека, – начал он на чистейшем русском языке, – это жизнь. И прожить ее нужно так...

– Не так, а там, – перебил его Ханох. – Там, то есть здесь. Вот мы здесь и живем.

– А может, – хитро прищурился Мишка, – тебе только кажется, будто ты живешь. А на самом деле спишь и видишь сон.

– Если это сон, – махнул рукой по сторонам Ханох, – что же тогда реальность?

– А так часто бывает, – продолжил Мишка, – вдруг получает человек письмо или случайный разговор возникает во время случайной встречи, и понимает внезапно, что вся жизнь его, не больше, чем сон. Ужасный, кошмарный, невозможный сон.

– Не каркай, рыжий ворон – снисходительно улыбнулся Ханох. – А я и не знал, что ты так хорошо владеешь русским языком.

– А я не знал, что ты такой дурак, – в тон ему ответил Мишка и, вскочив в седло, двинулся с места. Отъехав на несколько метров, он звякнул звоночком и завел свою песенку:

– Реховот, просыпайся! Спящие, очнитесь! Бредущие во тьме – открывайте глаза.

Ханох только головой покачал. И пошел домой.

Дома его ждал неприятный сюрприз. Не успел он раздеться, как в дверь позвонили. За порогом стояла молодая женщина и с робостью смотрела на Ханоха.

– Меня к вам послал раввин, – тут она пробормотала какое-то имя – из Тель-Авива. Просил, чтобы вы выслушали.

И она протянула Ханоху фирменный конверт раввинского суда Тель-Авива.

Одной из немногих обременительных обязанностей, связанных с новой должностью, была та, что посетители приходили теперь не только в суд, но и домой к Ханоху. И приходилось принимать, куда денешься! Особенно досаждали ему просители, присланные раввинами. Выросшие и воспитанные Бней-Браке, раввины до определенного возраста никогда не сталкивались с иностранцами и свое представление о «гоях» черпали из книг. «Гой» им рисовался или попом, насильно крестящим еврейских детей, или пьяным разбойником-гайдамаком. И ежели предстал перед их ясные очи скромно ведущий себя представитель другой национальности, к тому же изъявляющий желание стать евреем, они приходил в восторг, и немедленно посылали их к Ханоху с горячим рекомендательным письмом. Ханох поначалу недоумевал, не понимая, как может сочетаться тончайшее проникновение в сложные вопросы жизни с подобной наивностью, потом злился, а потом просто перестал обращать внимание на просьбы посодействовать и принять всяческое участие. Он теперь решал сам, по праву возложенных на него обязанностей и в силу принятой на себя ответственности. Но отмахнуться от этих рекомендаций было невозможно, и ему приходилось подробно вникать в каждое дело, а после писать высокому покровителю письмо с объяснениями.

– Проходите, – буркнул Ханох, и пошел на кухню мыть руки.

Посетительница ждала в салоне, скромно присев на краешек стула в самом конце длинного стола, покрытого белой скатертью. Ханох пересадил ее поближе, сел во главе, удобно облокотясь на ручки кресла, и принялся изучать документы. Особенно изучать было нечего, женщина приехала из Беларуси, подлинные метрика, паспорт и выписка из трудовой книжки, однозначно свидетельствовали, что Галина Дмитриевна Быкова, белоруска, двадцати трех лет от роду, закончила школу, потом ж-д техникум, и работала в Бобруйском отделении железной дороги. Все нормально, все гладко. Как попала в Израиль – очередная загадка Сохнута, везущего сюда всех и вся. Но выяснять это не дело Ханоха. Он по другой части. А вот, собственно по какой, из приложенных документов неясно.

– Что привело вас ко мне? – спросил он, закрывая папочку с бумагами.

– Видите ли, – потупилась женщина, и по ее лицу растекся неровный румянец. – Я бы хотела, ну как это сказать, стать еврейкой.

– А зачем это вам нужно?

– Наш отец, мой и сестры, погиб на заводе, когда мы были совсем маленькими. Производственная авария. Мать много работала, чтобы нас прокормить и выучить, а воспитывала соседка, Полина Абрамовна. Мы у нее как дочери были, даже язык ее выучили.

– Ир рейд оф идиш ¹? – спросил Ханох.

– Яа, ир рейд ², – ответила женщина, и тут же перешла на идиш. Ее словарный запас был невелик, да и обороты из самых примитивных, но говорила она легко, словно дышала.

«Такого не подделать, – подумал Ханох. – Она действительно выросла рядом с евреями».

– Ну и что? – спросил он, – глядя женщине прямо в глаза. Ее лицо почему то казалось ему знакомым, или напоминало кого-то. Впрочем, за последние годы он столько насмотрелся лиц из России, что немудрено было найти схожесть с кем-нибудь из бывших клиентов.

– Разве это повод стать еврейкой? – сурово спросил Ханох.

– Я очень любила покойную Полину Абрамовну, – сказала женщина. – А она так мечтала попасть на Святую Землю, столько рассказывала о ней сказок и преданий, что и нас заразила. Моя сестра уже много лет здесь, только связь с ней потерялась. А я вот сейчас приехала. Ну, и хочу, чтоб все правильно было, как положено.

– А что положено?

– Ну-у-у. Если живешь в другой стране, говоришь на другом языке, то нужно стать частью ее народа. Мне в Израиле очень нравится, больше чем в Бобруйске. Я хочу замуж выйти, семью большую завести, и жить тут, как все.

– А как насчет заповедей? Их много, и они сложные.

– Ничего не сложные, – улыбнулась женщина. – Полина Абрамовна почти все соблюдала, так я насмотрелась. Как халу отделять знаю, мацу печь умею, мясную посуду с молочной не смешивать. Меня всегда к религии тянуло, только наша, православная, больше на оперу похожа, чем на веру. Я несколько раз в церковь ходила, но прилепиться не смогла. А еврейский невидимый Б-г мне по душе.

Полуоткрытая дверь распахнулась и в комнату решительными шагами вошла раббанит Мирьям.

– Прошу прощения, – быстро начала она, – я всего на минуту. Дело в то что...

– Маринка, – ахнула женщина. – Мариночка, милая! Это я, Гала!

Ханох бросил быстрый взгляд на жену. Она побледнела, затем резко повернулась и, ни слова не говоря, вышла из комнаты.

– В чем дело? – спросил он женщину. – Что это значит?

¹ Вы говорите на идиш?

² Да, я говорю.

– Это моя сестра, Маринка! – воскликнула та с величайшим волнением. – Я ищу ее больше десяти лет. А она тут, у вас.

– Мне кажется, – сухо сказал Ханох, – вы обознались.

Он хотел добавить, что ее лицо тоже напоминает ему кого-то, но он не делает из своего ощущения никаких выводов, как вдруг понял, на кого похожа гостя. Да, несомненно, женщина походила на его Мирьям

– Глупости, – оборвал он самого себя. – Ну, похожа, и что с этого? Мало ли кто на кого похож!

– Вы обознались, – повторил он, но женщина, раскрыв сумочку, суетливо шарила в ней, не обращая на его слова никакого внимания.

– Вот, – просияв, воскликнула она, протягивая Ханоху тоненькую книжечку в кожаной обложке. – Я всегда ношу ее с собой. Посмотрите.

Он раскрыл книжицу. Это был мини-альбом на две фотографии. Слева, под глянцево поблескивающим целлофаном, находился снимок пожилой еврейки с усталым лицом. «Полина Абрамовна», – сообразил Ханох. Справа, – он успел лишь окинуть фотографию беглым взглядом, как сердце ухнуло и провалилось куда-то вниз, в черные глубины преисподней – справа, держа за руку девочку в коротком, как тогда носили в России платице и с двумя аккуратно заплетенными косичками, стояла его Мирьям, точно такая, как он помнил ее любовным отпечатком памяти. Только одета она была совсем по-другому и стена избы, на заднем плане, сложенная из круглых бревен, не оставляла сомнения, где сделан снимок.

– Это я и Марина, – пояснила женщина, – незадолго до ее отъезда. Куда я ни писала, кого ни спрашивала – никто не знает. А она, вот она где, оказывается!

Ханох помолчал несколько минут. Потом вернул женщине книжицу и сказал.

– Пожалуйста, позвоните мне завтра в суд, с десяти до двенадцати.

– Но, – женщина нервно сглотнула, – я бы хотела поговорить с Мариной.

– Повторяю, – холодно произнес Ханох. – Завтра. С десяти до двенадцати. По рабочему телефону. Мирьям сейчас с вами говорить не будет.

– Почему?

– Давайте отложим этот разговор.

Ханох встал. Женщина тоже поднялась. Она медленно пошла к выходу, наверное, ожидая, что Марина вернется в комнату, обнимет ее, заплачет, но в квартире было тихо, лишь из кухни доносилось журчание вытекающей из крана воды.

Подойдя к входной двери, женщина еще раз оглянулась. Ханох стоял, перегораживая коридор, ведущий в кухню и комнату. Его лицо было мрачнее тучи.

– Вы извините, – вдруг сообразила женщина, – разве вы не знали? Я не хотела. Я думала, что...

– Завтра, с десяти до двенадцати, – повторил Ханох, закрывая за ней дверь.

Он набросил цепочку и прислонился спиной к двери. Если... если это правда, и Мирьям гиорет, новообращенная, то ему, коэну, она запрещена по закону. И дети его, тоже не коэны. Он должен развестись. Б-же, какой позор! Он закрыл лицо руками. Все рушится, семья, домашний уют, Мирьям. Он ведь любит ее, по настоящему любит, что же теперь делать? Промолчать? Скрыть? Правда все равно вылезет, если не сейчас, то через пять, десять лет. Уж он-то знает это лучше других.

Ханох опустил руки и двинулся на кухню. Жена стояла у стола и ела апельсин. Оранжевая кожица горкой возвышалась посреди стола. Закончив апельсин, она, не глядя на мужа, быстро очистила следующий, и снова принялась есть.

– Мирьям, – сказал он, не зная, с чего начать. – Мирьям, как же так? Что теперь будет, Мирьям?

– Я повешусь, – сказала она. – И все останется в тайне.

– Дура! Кто потом женится на твоих дочерях!?

– Ты уже называешь их моими! – горько усмехнулась она.

Он открыл рот, чтобы ответить, но вдруг мысль, от которой замерло сердце, остановила его с раскрытым ртом.

«В семинар «Зеев» не принимают прозелитов. И сваха, я же предупреждал сваху. Значит...

Обливаясь потом, он молча развернулся и бросился в свой кабинет. Там, в нижнем ящике стола хранились их общие с женой документы. Он сложил их вместе сразу после свадьбы, да так с тех пор и не вытаскивал.

Распутав дрожащими пальцами непослушные тесемки старомодной папки, Ханох вытащил прозрачный пакет с документами Мирьям, и быстро осмотрел.

Б-же мой! Б-же, Б-же мой! Все сомнения рассеялись. Тогда, десять лет назад он не знал, не понимал этого, но сейчас с первого взгляда определил, что метрика Мирьям – хорошо сработанная фальшивка. Значит... ах, да что же это значит...

Он вышел в салон, держась рукой за стену. Да. Это значит только одно... Она обманула, обманула всех, и его в том числе. Все эти годы он жил с нееврейкой и дети его гои, и каждый половой акт с ней был запрещенным и его внезапная тупость в учении... Он замотал головой от невыносимой душевной боли.

Взгляд упал на конверт с эмблемой раввинского суда Тель-Авива, забытый на столе сестрой Мирьям. Ханох машинально открыл его.

«Досточтимый исполняющий обязанности судьи, – значилось в письме. – Посылаю к вам особу, достойную во всех отношениях. Прошу уделить ей немного вашего драгоценного времени и обратить особое внимание на родственные связи. Всегда ваш...

Да, вот оно, вот и пришла расплата. Давний разговор, то ли шутка, то ли сон, моментально вынырнул из подернутого сепией прошлого. Под письмом стояло имя «Набокова». А пять обещанных гойских душ, о Г-споди, это же четверо его детей и Мирьям.

Он в отчаянии стукнул кулаком по столу. Еще, и еще, и еще, и продолжал стучать, пока на белой субботней скатерти не начало расплываться вишневое пятно крови.

Через два часа он доехал до Бней-Брака, взобрался на холм и со всего маху рухнул грудью на каменный парапет. Ему почему-то казалось, будто лишь здесь он сможет обрести ясность мысли и поймет, что же теперь делать. Холодный ветер раздувал полы длинного пиджака и студил спину, но Ханох не обращал на него внимания. Огни тель-авивских небоскребов переливались перед глазами, и Ханох глубоко вдыхал влажный воздух зимы, надеясь, что его сырая прохлада успокоит разгоряченную грудь.

– Куда же дальше, куда дальше? – мысль, точно бильярдный шар металась внутри черепной коробки, вышибая искры при каждом столкновении с костью.

– Разбежаться. И головой вниз, – раздался голос за спиной и Ханох, вздрогнув, обернулся.

«Набоков» смотрел на него, улыбаясь. Ханох резко шагнул ему навстречу.

– Только без рук, – попросил «Набоков», отрицательно покачивая указательным пальцем. – Руками тут не поможешь. Если хочешь их куда-нибудь пристроить, наложи на себя.

Он снова улыбнулся. Ханох вытянул вперед руки и сомкнул пальцы вокруг горла «Набокова». Но пальцы схватили пустоту, «Набоков», словно облачко дыма протек между ними и оказался за спиной Ханоха.

– Давай, давай, – презрительно усмехаясь, сказал он. – Поиграй в кошки-мышки с чертом, краса и гордость ешивы.

Ханох опустил руки. «Набоков» перегнулся через парапет и заглянул вниз.

– Самый простой выход. Две секунды полета, удар и все. А я подтверждаю – несчастный случай.

– Не дожدهшься, – сказал Ханох. Черт широко зевнул, бесстыдно обнажая блестящие при свете луны зубы.

– Скучно тут у вас, – сказал он, наклонив голову к плечу. – Но я, благодаря тебе, теперь на новом месте, в Тель-Авиве. Надеюсь, там будет веселее.

Он повернулся и пошел к зданию ешивы.

– Эй, – крикнул Ханох вслед его перекошенной фигуре. – А что теперь будет? Дальше то как?

– Дальше как знаешь, – черт сделал ему ручкой. – Ты еще молодой, вся жизнь впереди. Начинай вторую карьеру. Если понадобится, сумеешь меня отыскать. А сейчас, прощай, любезный.

Ханох постоял еще минут десять, рассматривая дрожащие через слезы огни Тель-Авива. Потом перегнулся через парапет, и посмотрел вниз. Метров двадцать, камни, чуть ниже – асфальт. Может, и вправду?

Он отшатнулся. Это он, черт «Набоков», подсовывает такие мысли. Одного повышения ему мало, захотел дальше продвинуться. Не-е-е-т, я еще поживу, поборюсь. К чертям собачьим всех чертей с их советами. А жизнь, она и вправду длинная. И не прошла, нет, еще не прошла. Стоит посмотреть, что будет дальше.

Потомок Ахашвероша

Ее называли Ципи, ласковым сокращением от Ципора. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь обращался к ней полным именем. Даже Яков – хозяин дома престарелых, – сам уже хорошо поживший дядька с голубоватыми подглазьями и седым пухом на коричнево-блестящей голове, с умилением повторял: Ципи, Ципи, Ципочка.

Почти шестьдесят лет из своих семидесяти с плюсом, Ципи прожила в этом доме. Когда в ранней юности у нее обнаружили психическое расстройство, брат вместо лечебницы сумел устроить ее сюда, к школьному товарищу их матери.

Тогдашним хозяином заведения был отец Якова. Он уехал из Салок, крохотного еврейского местечка северной Литвы, еще в двадцатые годы, и открыл первый реховотский дом престарелых. Впрочем, на вывеске значилось нечто более благозвучное – Обитель отцов, и мы, пожалуй, тоже станем пользоваться этим названием. Старожилы заведения между собой именовали его по первым буквам «О-О», иногда с ироническим, а иногда с восторженным оттенком.

Надо, однако, показать читателю Ципи, ведь неудобно говорить за глаза о героине рассказа. Росту она была небольшого, сухощавую, летучую фигурку всегда облегалo темное платье до щиколоток. В зависимости от времени года менялся только его цвет, от черного до коричневого, фасон же всегда оставался неизменным. По-старомодному строгого покроя воротник-стойка, манжетки на рукавах, планка с белыми, перламутрово мерцающими пуговицами, юбка в складку. Волосы цвета первого снега, морщинистое аккуратное лицо, непропорционально маленькие уши. Складки провисшей под подбородком кожи опирались на высокий твердый воротничок. Черные, немного выцветшие глаза прикрывались выпуклыми линзами в паутиной оправе из серых проволочек. Улыбка обнажала неестественно ровные зубы, на щеках всегда лежал едва заметный искусственный румянец. Ципи источала запах праздника: булочек с корицей, медовых коврижек и струделя из тончайшего ароматного теста.

Мы познакомились несколько экстравагантно. У многих обитателей «О-О» по мере расставания с радостями этого мира начали прорезаться религиозные чувства. И хоть жизнь они прожили весьма удаленную от традиции, но пенсионная праздность в сочетании со все усиливающимся запахом земли, потихоньку перевернули их сознание.

Поначалу впавшие в религию старики ходили в ближайшую синагогу на другой стороне улицы. Летний зной влажно обтекал их плечи, зимний дождик гулко колотил по шляпам. Сил, убывающих с каждым месяцем, точно песок в колбе часов, быстро перестало хватать даже на такую прогулку, и на Якова посыпались просьбы открыть синагогу прямо в «О-О». Нельзя сказать, что он отнесся к этому с восторгом, но деваться было некуда. Не мог же он, в самом-то деле, запретить пожилым людям молиться Б-гу?

Маленький зал, примыкающий к большому холлу на первом этаже, срочно переоборудовали под молельню. Купили мебель: длинные столы, осанистые буковые кресла, темно-вишневого цвета шкаф с малиновой занавеской из расшитого золотом бархата. Свиток Торы, подаренный «О-О» реховотским раввином, торжественно внесли в комнату, поставили в шкаф и задернули занавеску. Старики разобрали молитвенники, еще пахнущие типографской краской, заскрипели новенькими сиденьями, усаживаясь в благоухающие лаком кресла и... И тут выяснилось, что вести общественную молитву и читать свиток Торы никто не умеет.

Яков кинулся в раввинат. Собрать новую общину вовсе не просто, ведь каждый молящийся уже ходит в какую-нибудь из существующих синагог, перезнакомился и подружился с другими посетителями, привык к распорядку, приноровился к странностям. Сорвать чело-

века с места ох, как тяжело, и если бы речь не шла о помощи старикам, долго бы еще пришлось обитателям «О-О» шурить глаза под ярким солнцем, или выслушивать отрывистый разговор между дождевыми каплями и шляпой.

Главный раввин Реховота лично позвонил двум десяткам человек, проживавших по соседству. Вот так я оказался в новой синагоге.

Ципи была одной из самых ревностных прихожанок. Она бесшумно возникала на пороге за десять минут до начала молитвы, и, стараясь остаться незамеченной, занимала свое кресло. Белое сияние ее головы пробивалось через деревянную дырчатую перегородку, отделявшую женскую половину от остальной части зала. Этим знакомство и заканчивалось, ведь никаких общих дел у нас не было, а моя жизнь, плотно завинченная в беспощадную мясорубку повседневности, не оставляла ни возможности, ни сил для праздного общения. Я приходил в «О-О» только на молитву и немедленно сбегал после ее окончания.

В один из дней, когда проговорив последний «Омейн», я устремился в сторону двери, готовый, точно скаковая лошадь после старта привычно закусив удила помчаться по кругу дня, до моих прижатых ушей донеслось восклицание.

– Молодой человек!

Последний раз меня так именовали лет пятнадцать назад. Я обернулся. Ципи стояла на расстоянии вытянутой руки, преодолев расстояние от женской половины до двери в немыслимо короткое время. Мне даже показалось, будто за таким моментальным перемещением кроется нечто сверхъестественное.

– Вы, наверное, не успели позавтракать?

– Да, – сказал я.

Такой вопрос из других уст показался бы нескромным или, по меньшей мере, странным, но Ципи держалась абсолютно безыскусно, а смотрела кротко и ласково. Ее губы привлекли мое внимание. Вишневые, чуть блестящие, гладкие губы молодой девушки, не совпадали с коричневатой, морщинистой кожей лица и дряблой шеей.

– Вот, – протянула она мне небольшой сверток. – Съешьте с утренним кофе.

Светок источал неземное благоухание свежее испеченных булочек. Я развернул бумагу. Да, это были они: чуть присыпанные сахарной пудрой, поджарившиеся, круглые, четыре крепкие булочки с корицей.

– Спасибо.

– Ешьте, ешьте на здоровье.

Кто-то открыл дверь и тут же возникший сквозняк приподнял занавески на окнах. Старомодная вуалька на шляпе Ципи слегка вздулась, устремившись в мою сторону. Я не могу объяснить свое тогдашнее ощущение, оно нерационально, как, впрочем, и любое другое чувство, но, глядя на приподнявшуюся вуальку, я понял, что между мной и Ципи возникла невидимая, но крепкая связь.

Легким движением руки она откинула вуаль и улыбнулась. Я заглянул в ее глаза. Сердце сжалось, эта старая, незнакомая женщина вдруг стала близкой, словно к глазам моей души поднесли мощный бинокль. Чувство, напоминающее начало любовного романа, но лишенное плотского интереса, трепещущего животного начала. Я захотел знать о ней все, историю жизни, родственников, знакомства, привязанности.

Ципи поняла, что со мной происходит.

– Приходите как-нибудь вечером. Хоть сегодня. Я вас угощу чаем.

– Да, да, конечно, – забормотал я, плохо понимая, как смогу вывернуться из тисков ежедневного распорядка.

– Ну, не сможете сегодня, так завтра. Или послезавтра. Когда сможете. Я-то всегда тут. Она еще раз улыбнулась и опустила вуальку.

На выходе из холла меня настиг Яков.

– В первый раз вижу, чтоб Ципи угощала кого-то булочками.

Потом, за довольно долгое время мой дружбы с Ципи, я понял, насколько необычным был этот утренний подарок.

* * *

Выпечкой Ципи занималась один раз в год, на Пурим. Пекла она всегда одно и то же: треугольные «ументаши», пирожки с маковой начинкой, и похожие на румяную колбаску пироги, плотно набитые яблочным вареньем и орехами.

Подготовка начиналась сразу после Хануки. Сначала Ципи несколько раз просеивала муку через мельчайшее сито, так, что она становилась похожей на пудру. Просеивание занимало несколько недель, ведь муки было много, около двадцати килограмм. Очищенную, белоснежную пудру Ципи раскладывала по бумажным пакетам, килограмм в каждый, и герметически закрывала, обертывая двумя целлофановыми мешками. Ни влага, ни жучки не могли прорваться через эти препоны.

Затем наступал черед варенья. Две недели кряду, сразу после утренней молитвы, Ципи отправлялась на базар. Ее интересовал конкретный сорт яблок, строго определенный вид и безошибочно выбираемый ею вкус. Рыночные торговцы знали Ципи много лет и заранее готовили для нее товар, но церемония выбора от их подготовки не сокращалась.

– Прежде всего, – учила она меня, – нужно обойти ряды. Все, не пропуская ни одного. На первом обходе только смотрим. Сначала нужно насытить глаз. На втором – пробуем. Пусть язык подскажет, на что обратить внимание. На третьем – начинаем прицениваться.

За один раз Ципи покупала не больше двух-трех килограмм, перебирая каждый плод сухими быстрыми пальчиками. Отобрав понравившиеся, она долго гладила их по бокам, и щупала, нежно подергивая за черенок. На ее устах играла лукавая улыбка праматери Евы, а движения пальцев больше походили на ласку. Акт приобретения не имел ничего общего с примитивным обменом денежных знаков на приглянувшийся товар, а являлся высокой церемонией выбора достойнейших и посвящения их в близкие друзья.

Собрав, наконец, необходимое количество яблок, Ципи приступала к варке. Способ, которым она пользовалась, был древним, как падение Адама. Оккупировав плиту на общей кухне, Ципи доводила огромный казан до кипения, затем выключала огонь, терпеливо дожидаясь снижения температуры густой, исходящей крупными пузырями лавы, и снова кипятила. Пузыри лопались, наполняя кухню тяжелым ароматом.

Ципи не отходила от плиты почти двое суток, доводя до полного изнеможения нянечек, приставленных к ней бдительным Яковом. Нянечки менялись каждые двенадцать часов, но уже к середине смены, сомлев от жары и запаха, они задремывали в кресле, предоставив неутомимой Ципи без присмотра помешивать варево огромным деревянным половником.

Когда варенье было разлито по банкам и плотно закупорено герметически крышками, половник и казан отмывались до стерильной чистоты, нежно обертывались несколькими слоями пластиковой пленки, и упокоивались на верхней полке кухонного шкафа – до следующего Пурима.

До того же срока дремали не востребовавшими кулинарные способности Ципи. Ела она чрезвычайно мало, поклевывала, точно птичка, немного каши на завтрак, полтарелки супа на обед и несколько ложек творога перед сном. Ни о какой готовке речь даже не заходила, а уж духовку Ципи обходила десятой дорогой. Булочки с корицей ее приготовления я пробовал только один раз – в то самое утро.

За день до Пурима Ципи облачалась в белоснежный докторский халат, специальную пекарскую шапочку и торжественно отправлялась на кухню. В ее поступи проглядывало величие, так, наверное, шествовали монархи к месту помазания. Рассказывали, что еще пять-

шесть лет назад она самолично месила тесто, заполняя разбухающей липкой массой огромные кастрюли. Мне уже не довелось наблюдать эту картину, но я видел, как Ципи долго готовила смесь, посыпая муку специями из холщовых мешочков и тщательно вымеряя количество оливкового масла, соли и сахара.

Месила всегда одна и та же стряпуха, старая знакомая Ципи, специально приходившая в «О-О» на вечер перед Пуримом. Ципи неотступно стояла рядом, склонившись над столом, точно колодезный журавель, не спуская глаз с рук стряпухи. Со стороны могло показаться, будто обе женщины готовят колдовское зелье, но посторонние на кухне не допускались, поэтому ни о каком взгляде со стороны не могло идти речи. Только я, по непонятной милости Ципи, был не просто допущен, а даже приглашен принять участие в церемонии выпечки. Мне доверяли укладывать в раскаленное нутро духовки противни, уставленные белыми треугольниками и колбасками.

Перед самой укладкой Ципи внимательно оглядывала противень, и словно художник, завершающий картину, наносила последние штрихи. Индюшачье перо, перемазанное куриным желтком, она держала, как Рембрандт кисть на знаменитом автопортрете.

Спустя час я извлекал одуряюще пахнувшие «ументаши» и пироги. Ципи ловко перекладывала их на подносы и закрывала полотенцами, старыми, покрытыми желтыми пятнами полотенцами, специально для этой цели достававшимися из недр Ципиного шкафа. После каждого Пурима эти полотенца основательно стирались, но пятна навсегда въелись в ткань. В полотенцах явно скрывалась какая-то тайна, иначе бы чистюля и аккуратистка Ципи давно сменила бы их на новые, но задать вопрос я не решался, а Ципи, чуть насмешливо – или это мне так казалось, – поглядывая в мою сторону, рассказывать ничего не собиралась.

Больше всего мне хотелось умять хоть кусочек, хотя бы уголок подрумяненного «ументаша». Я начинал расспрашивать Ципи о температуре печки, времени выдержки, беспокоиться, хорошо ли подошло тесто, словом, старался направить ход мыслей на необходимость попробовать.

– Горячая сдоба вредна для желудка, – назидательно прерывала Ципи мои поползновения. – А твоим деткам нужен здоровый отец.

К тому времени она уже стала своим человеком в нашем доме. Иногда приходила сама, без приглашения, усаживалась в кресле у окна и помогала старшему сыну делать уроки. Младшему Ципи рассказывала сказки и пела песенки. После третьего или четвертого визита он спросил жену, по-детски не стесняясь присутствием Ципи.

– Мама, а кто нам эта тетя?

– Ну-у-у, – промямлила жена, – она нам бабушка.

– Значит, папина мама или мамина мама? – продолжал расспрашивать младший.

– Получается так.

– Но ведь у тебя уже есть мама, и у папы есть мама, а двух мам у человека быть не может.

– Она двоюродная бабушка, – попыталась извернуться жена.

– Что значит двоюродная?

– То есть родственница бабушки. Почти как бабушка.

– А что такое, почти как бабушка? – не разжимал хватку сын и по побелевшей верхней губе жены я понял, что она начинает сердиться. Но тут вмешалась Ципи.

– Когда-то, в далекой стране жили-были старик со старухой, – начала она чуть напевно, словно рассказывая сказку.

– У самого синего моря? – уточнил сын, которого «мамина» бабушка, большая любительница русской литературы, успела познакомить с известным сюжетом.

– Нет, не моря, а между двух больших рек. У них долго не было детей. И вот однажды, взмолился старик Всевышнему...

– Его звали Авраамом? – подозрительно спросил сын, посещающий религиозный детский садик, где воспитательницы вместо сказок про трех богатырей и царевну-лягушку пересказывали библейские сюжеты.

– Да, – подтвердила Ципи. – Мы все от него исходим. Только я родилась намного раньше, чем ты, в одно время с твоими бабушками. Поэтому и называть меня можно, так же, как их.

– Ладно, – сын подбежал к Ципи, вскарабкался к ней на колени и звонко чмокнул в щеку.

– Бабушка Ципи, а ты принесла мне сегодня что-нибудь сладенькое?

На утро Ципи раскладывала пироги по небольшим корзинкам из коричневой соломки, оборачивала хрустящей цветной пленкой, и приклеивала заранее надписанные поздравительные открытки с благословениями по случаю праздника. Обитателям «О-О» она разносила корзинки сама, остальные передавала посыльному, который развозил ароматный груз по всему городу. Пироги доставлялись главному раввину Реховота, мэру, членам муниципального совета, раввинам синагог и главам ешив. Их ответные дары посыльный складывал в багажник и, закончив объезд, передавал социальному работнику городской больницы.

В моей корзинке обычно оказывалась двойная порция.

– Угости деток, – говорила Ципи. – И сам поешь. Ты ведь любишь сладкое, я знаю.

Ципины пироги съедались моментально. Впрочем, слово «съедались» плохо отражает сущность полного совпадения ожидаемого с достигнутым, неувливаемого перетекания из тарелки в рот, мгновенного всасывания, неизъяснимого блаженства неба, ликования языка, счастья вкусовых рецепторов и безудержного наслаждения желудка.

– Пироги Ципи пахнут будущим миром, – говаривал главный раввин, тяжелый диабетик, нарушающий строгую диету только один раз в год, ради «ументаша» из коричневой корзинки. Вряд ли бы стал он лично обзванивать молящихся, собирая общину для новой синагоги, если бы не Ципины пироги. Впрочем, Яков, направляясь к главному раввину, рассчитывал на эту его слабость, и в своем расчете не ошибся.

Все остальные праздники Ципи отмечала скорее по обязанности, чем по сердцу. Нет, я не могу упрекнуть ее в нарушениях закона или в своевольной трактовке одного из множества пунктов, пунктиков и параграфов, составляющих сладость еврейской жизни, но того напора и рвения, с которым она встречала Пурим, не было даже в помине. Что ж, у каждого человека есть свой день в году и свой, облюбленный праздник, выбираемые непонятным тяготением сердца.

* * *

Моя бабушка – та, которую я помню, – другая умерла задолго до моего рождения, – тоже выделяла этот праздник. Она жила в старой части города, на третьем этаже старого дома с кариатидами у входа и приветственной надписью SALVE, выложенной из кусочков коричневого мрамора на мозаичном полу вестибюля. Я бывал у нее не часто, ведь наша пятнадцатизэтажная, цементного цвета башня, оснащенная современными удобствами вроде громыхающего лифта и пованивающего мусоропровода, располагалась на самом краю нового района. Зато прямо через дорогу простирался огромный парк, а из окон можно было разглядеть черно-синюю полоску моря с одной стороны и желтые поля бесконечной колхозной кукурузы с другой.

Сейчас я понимаю, что мои прогрессивно настроенные родители боялись бабушкиного влияния и всячески оберегали меня от него. Опасались они напрасно: я боялся, и не любил бабушку. Ее квартира, густо налитая запахами старой мебели, пыли и нафталина, ее приторно пахнущие ванилью платья, ее неправильный русский язык так не походили на

светлые комнаты последнего этажа серой башни, крепкий запах отцовского одеколona и напыщенно-литературные обороты речи матери.

В Пурим – а о других еврейских праздниках мне никто никогда не рассказывал, я оставался ночевать у бабушки. До сих пор не понимаю, как ей удавалось вырвать меня из плотного кольца родительской опеки. Накинув черный кружевной платок, бабушка зажигала свечи и долго молилась, а потом усаживала меня за стол, и рассказывала про Мордехая, Эстер, Амана и Ахашвероша. История сама по себе довольно забавная, если слушать ее в первый или во второй раз. Скуку этого вечера скрашивал лишь обильный ужин, с обязательными треугольными пирожками на закуску.

Объевшись, я быстро засыпал на кушетке, а бабушка, повернув зеленый колпачок металлической настольной лампы, так, чтобы свет не попадал на мое лицо, читала толстую книгу на непонятном языке. Читая, она вздыхала и раскачивалась, и, просыпаясь среди ночи, я видел сквозь ресницы дрожащую на стене тень.

Однажды я проснулся от ее близкого дыхания. Дышала она тяжело, с присвистом, застарелая болезнь, которая, в конце концов, свела бабушку в могилу, давила грудь, словно сидящая на ней гигантская жаба.

– Почему, почему ты не девочка? – услышал я жалующийся шепот.

Что за дурацкий вопрос! Я хотел утром расспросить бабушку, но, проснувшись, забыл о ночном видении, и вспомнил лишь спустя несколько лет, когда спрашивать было уже не у кого.

Девочка! Природа наделила меня отчетливо-мальчишеским характером. Я без конца дрался, лазал по деревьям, гонял в футбол, беспощадно уничтожая обувь. Коленки моих брюк украшали заплатки, а пуговицы рубашек постоянно отлетали, словно их отталкивали магнитом. Школьный дневник украшали грозные записи. Восклицательные знаки угрожающе краснели, сливаясь в частокol, застывший, по мнению классной руководительницы, мое будущее. Родители не знали, что делать.

В одно из посещений бабушка подарила мне чистую тетрадку, аккуратно разграфленную на квадратики.

– В каждом квадрате поставишь дату. И пусть мама подпишет, что в этот день ты вел себя хорошо. Через шестьдесят подписей я раскрою тебе одну тайну.

Узнать тайну мне очень хотелось, но ждать так долго, да еще вести себя хорошо, то есть отказаться от всего того, что составляло смысл и радость жизни, я не мог. После трех подписей тетрадка и тайна незаметно отодвинулись куда-то на край памяти, а потом и вовсе пропали из поля зрения – более жгучие желания попросту вытеснили их наружу.

Бабушкины пирожки не шли ни в какое сравнение с «ументашами» Ципи. Главное их достоинство состояло в том, что их я мог есть сколько захочется, а содержимое коричневой корзинки жена отдавала нашим мальчишкам, выделяя мне несколько узеньких скибок. У самой Ципи не оставалась ни крошки, я вообще не уверен, удавалось ли ей съесть хотя бы один пирог. Откуда она брала деньги на все это торжество, я не знал, мне казалось, будто Ципи весь год откладывала монетку к монетке, готовясь к фейерверку Пурима.

О себе Ципи рассказывала очень мало. Я изо всех сил пытался разговорить ее, но безуспешно. До того дня, пока она, поскользнувшись на лестнице, сломала шейку бедра.

Из больницы вернулась совсем другая Ципи. Легкость, осенявшая ее походку, манеру говорить, улыбаться, переходить с одной темы на другую, исчезла бесследно. Ципи лежала, глубоко и серьезно размышляя о чем-то своем.

Возле ее постели всегда сидела пара-тройка посетителей. Обитатели «О-О» любили Ципи, и сочувствующих было хоть отбавляй. Старики с легкостью представляли себя на ее месте, ведь такое запросто могло случиться с каждым из них, и переполнялись жалостью.

Завидев меня, Ципи оживилась, отвисшая кожа под подбородком натянулась, а щеки порозовели. Приподнявшись на локте, она попросила двух старичков оставить нас наедине, поступок невероятный для ее деликатности.

Когда дверь закрылась, Ципи показал мне пальцем на стул возле кровати. Не успел я усесться, как она начала говорить. Собственно с этого момента и начинается то, ради чего я затеял этот рассказ.

* * *

– Немцы вошли в Салок ранним утром. Все попрятались, только мой отец, как обычно, возился в пекарне.

– Свежий хлеб нужен при любой власти, – ему казалось, будто запах булочек с корицей самая лучшая защита в мире.

Я осталась с отцом, не смотря на протесты матери. К тому времени, я неплохо разбиралась в пекарных делах, многое умела делать собственными руками. Отец объяснял мне каждый свой шаг, показывал, как нужно составлять тесто, сколько месить, когда вытаскивать противни.

Передовые части немецкой армии прошли через местечко, точно нож сквозь свежий хлеб. Им было не до нас. С ужасным ревом проползли танки. Булыжники мостовой летели в разные стороны, словно выпущенные из пращи. За танками прошли солдаты. Двое из них, привлеченные запахом хлеба, заскочили в пекарню, молча схватили с поддонов по караваю и двинулись дальше.

Спустя несколько часов власть в местечке перешла к литовцам. Некоторые из них нацепили белые повязки и с винтовками через плечо важно разгуливали по улицам. К нам они относились презрительно и разговаривали только криком. Многих я знала: невеликие хозяева, приходили по вечерам к отцу просить пригоревшие остатки хлеба.

Мы старались не выходить из домов, отец собрался, было в пекарню, но мать вцепилась в его рукав и так заголосила, что он не решился уйти.

Страшное началось через два дня. Всем жителям приказали собраться на центральной площади. Начальник полиции стоял на балконе второго этажа и громко выкрикивал команды. Женщин с детьми в один конец, мужчин в другой. Сначала никто не хотел подчиняться, а один парень, Миха Гольдин, даже полез в драку. Начальник сбежал с балкона, вытащил револьвер и выстрелил в упор. Прямо в голову. Я стояла неподалеку и хорошо видела, как полетели кусочки волос и брызги крови.

Мужчин увели, женщин и детей загнали в синагогу. Набились битком, а день выдался жаркий. Окна открыть не давали, и скоро стало нечем дышать. Многие женщины потеряли сознание. Дети плакали, просили пить, но воды не было. Мама с младшим братиком на руках, мой старший брат Гирш и я сидели возле стены. Нам было относительно хорошо, от толстых камней несло прохладой, и мы прижимались к стене спинами.

Вдруг раздался звон разбитого стекла. Один из охранников, старый мамин знакомый, литовец Повилас, высадил окно прикладом. Осколки полетели прямо на людей, женщины истошно завопили.

Повилас обошел синагогу и выбил стекла с другой стороны. По головам загулял ветерок, сразу стало легче дышать.

Никто не знал, что будет дальше. Жена раввина раздала книжки псалмов, но чтение шло плохо. Начало смеркаться. Мама подошла к разбитому окну и тихонько позвала Повиласа. Он когда-то ухаживал за ней и отец каждый раз посмеивался, когда Повилас приходил в нашу булочную и, купив хлеба, пытался заговорить с мамой.

Вернувшись, мама обняла меня и прошептала на ухо:

– Не засыпай. Как только стемнеет, Повилас нас выпустит.

На ее пальце вместо обручального кольца белела полоска не загоревшей кожи.

Вместе с последними лучами света из синагоги уходило волнение. Матери старались закачать детей, надеясь, будто завтра принесет облегчение. Все устали, перенервничали, а сон манил мимолетным отдыхом, возможностью ненадолго убежать из невыносимой яви.

Мать снова приложила губы к моему уху и начала рассказывать. Я даже не подозревала, что наша семья хранит такую тайну.

– Не знаю, как повернется эта ночь, – шептала мама. – Я боюсь строить планы даже на завтра, поэтому посвящу тебя сейчас, хоть ты еще мала и вряд ли поймешь все до конца.

Когда она закончила говорить, была уже глубокая ночь. В синагоге стояла тишина. Только изредка кто-нибудь вскрикивал во сне. Мы тихонько подошли к двери. Мама постучала.

– Кто?

– Повилас, это я.

Дверь приотворилась. Мама с младшим братиком на руках выскользнула наружу, я, держа ее за руку, двинулась следом. Гирш шел за мной. Из переулка раздался шум мотора и показался свет. Наверное, это был немецкий мотоцикл или машина. Повилас рубящим движением выбил мою руку из маминой, толкнул меня внутрь синагоги и захлопнул дверь.

Звук мотора приблизился, свет скользнул по окнам и остановился перед входом. Мы с братом стояли, прижавшись к двери. Узкая полоска света, выбивавшаяся через щель у порога, освещала мои ботинки.

Раздались голоса. Отрывисто и резко говорили по-немецки, минуту или две. Потом свет ослаб, шум мотора стал удаляться. Снова стало темно. Брат осторожно постучал в дверь. Никакого ответа. Он опять постучал, уже сильнее. Раз, другой, третий. Наконец, кто-то сердито закричал:

– Еще один стук и я стреляю.

Это был не Повилас, а другой литовец. Мы постояли еще немного, и вернулись на свое место у стены. Больше я никогда не видела ни маму, ни младшего братика.

С утра нас снова выгнали на площадь. Привели и мужчин, но лишь стариков и больных. Остальных отправили куда-то под Каунас, сказали, будто на работы. Они пропали бесследно. Отец оказался в этой группе, и я до сих пор ничего не знаю о его судьбе.

Мы стояли на площади до самого вечера. Под солнцем, голодные. Хорошо, хоть воды можно было набрать из колодца. Напились вволю, и за вчера, и на завтра, и вместо еды. То и дело несколько женщин становились вплотную одна возле другой, а между ними кто-то присаживался на корточки.

Потом из толпы вывели раввина, крепкого старика лет шестидесяти, и начальник полиции стал кричать ему что-то. Раввин отрицательно покачал головой. Начальник полиции ударил его палкой. Раввин покачнулся. Начальник ударил еще раз. Мы смотрели во все глаза. Мне почему-то казалось, будто наше будущее зависит от того, удержится раввин на ногах, или нет.

Он покачивался, но стоял. Тогда начальник полиции принялся бить его без остановки и пинать сапогами. Кровь текла у раввина по бороде и капала на землю. Палка разлетелась на куски от удара по голове. Начальник полиции вытащил пистолет и рукояткой ударил раввина в лоб. Он упал, но тут же попытался подняться. Следующий удар пришелся по виску. Раввин рухнул на землю и замер. Я поняла: в местечко пришла большая беда.

На площади нас держали без всякой нужды, просто так, чтоб поиздеваться. К вечеру снова завели в синагогу. По дороге разрешили нескольким женщинам забежать к себе в дома, взять еды. Мой брат тоже получил разрешение. Вместе с хлебом и огурцами, он принес связку ключей.

– Ночью я открою заднюю дверь, и мы убежим.

У синагоги было несколько входов. Главный – мужской, боковой – для женщин, дверь в комнату резника, вход в комнату для учения. Ешива для подростков, где занимался брат, располагалась в этой комнате, потому он знал все ходы и выходы. У него, как старосты группы, хранились копии ключей от синагоги.

Ночью Гирш выдал стекло в окне, отделяющем главный зал от комнаты учения. Вокруг зашикали:

– Что вы делаете, беду хотите навести?

– Молчи, – прошептал брат.

Мы подождали часа полтора, пока все снова заснуло, и тихонько перелезли в комнату учения. Гирш отпер дверь, чуть приотворил и осторожно выглянул. Там никого не было, часовые ходили у главного входа.

Мы выскользнули наружу, брат запер дверь, чтоб часовые не хватились, и мы побежали, что есть духу.

Думаю, нашего исчезновения никто не заметил. Двумя детьми больше, двумя меньше, – кто считал? Мы выбежали за местечко, и рухнули посреди поля подсолнухов. Брат тут же сорвал несколько штук, наскреб еще зеленые семечки и протянул мне. Не успев отдышаться, я принялась за еду.

Наевшись и переведя дух, мы стали думать, куда пойти. Перебрав друзей отца и матери, Гирш решил обратиться к Вилии. Она жила на отдаленном хуторе с глухим мужем Андрюсом. Приходя в местечко за покупками, Вилия обязательно заворачивала к маме поболтать.

Мы шли почти всю ночь. Утро застало нас посреди леса. Брат наломал веток, соорудил навес, мы забрались под него и проспали до вечера. С голоду и усталости хорошо спится!

Увидев нас Вилия, вскрикнула.

– Ой, куда ж я вас дену, деточки!? Староста приезжал вчера, объявил: за укрывательство евреев будут убивать. Всех на хуторе, всех-всех. Ой, что ж делать, что ж делать!?

– Мы пойдем, – сказал Гирш. – Не надо ничего делать.

– Никуда вы не пойдете, – возразила Вилия. – Без еды, раздетые. Вас поймают на второй день. Оставайтесь здесь, до утра в подвале схоронитесь, а завтра Андрюс выроет в лесу яму поглубже. Ветками укроем, посидите в ней, пока я придумаю, куда вас упрятать.

Мы просидели в яме четыре недели. Вилия приходила ночью, приносила казан с горячей картошкой, хлеб, кувшин воды. Еды не хватало, Гирш потихоньку выбирался наружу, собирал листья, траву. Если жевать траву, во рту становится горько и есть не так хочется.

Сложнее всего оказалось не двигаться, целый день сидеть. Тело затекало, ноги словно засыпали и теряли чувствительность. Только по ночам я выбиралась наружу и немного гуляла вокруг ямы, чтоб размяться. Было скучно, невозможно скучно. Мы много разговаривали шепотом, обсуждали, как быть дальше, строили предположения о судьбе наших близких.

В одну из ночей Вилия, против обыкновения, не ушла сразу, а села на землю, потом засунула голову к нам под навес.

– Не хотела я вам рассказывать, детки, но видно придется. Три дня назад собрали всех ваших евреев из местечка, отвели за хутор Микулиса и расстреляли. Там две большие ямы, откуда берут гравий, туда их закопали. Всех-всех, до одного. Больше в нашей округе ни одного еврея не осталось, кроме тех, что прячутся. А за этими охоту объявили и деньги хорошие. Не могу я вас больше держать.

– Куда же нам идти? – спросил Гирш.

– Я вот что устроила, – ответила Вилия. – Ципи в монастырь сведу, мать настоятельница согласна. А тебя, Гирш, на пасеке брошенной поселим. Место глухое, туда годами никто не заглядывает. Если найдут тебя там, на нас вряд ли подумают. Если ты не расскажешь.

– Не расскажу! – воскликнул Гриш. – Убивать будут, не расскажу.

– Ну, так сидите пока. Завтра посмотрим.

Вилия ушла, а до нас только спустя минут десять дошло, какую она принесла весть. Я проплакала до утра, не могла представить, что больше не увижу ни маму, ни папу, ни маленького братика, ни родственников, ни друзей, ни соседей. Гирш не плакал, только кашлял без остановки и скрипел зубами.

Утром, чуть свет, пришла Вилия. Переодела Гирша в деревенскую одежду, а вместо туфель дала деревянные кломпы.

– По такому следу, – сказала она, указывая на резиновую подметку его туфель, – сразу смекнут, кто тут разгуливает. А ты, дочка, одна побудешь. Гирша я быстро упакую, а в монастырь долго добираться. Сначала его пристрою, а завтра тобой займусь.

Оставила мне картошки и воды, и ушла. Я ветку приподняла и смотрела им вслед, пока не скрылись за деревьями. Все гадала, увижу еще Гирша, или нет. Может, Вилия его в полицию повела, награду получать. Нехорошо, конечно, было так думать, но я уже не знала, кому верить.

Вилия вернулась только на следующее утро. Как я провела этот день и эту ночь, лучше не спрашивать. Тут бы и взрослый человек голову потерял, не то, что маленькая девочка. Хотя, может и наоборот, будь я постарше, наверное, еще б хуже было. Помню, что сделала из веток подобие куколок, рассадила их перед собой, словно учеников в школе, и принялась им рассказывать шепотом всякие истории.

В этих историях все было по-прежнему, словно ничего не случилось. Я куколкам рассказывала, а сама верила, будто скоро кошмар закончится, я вернусь домой, и снова стану вместе с папой выпекать булочки и халы, а с мамой готовить обед на субботу.

Еды Вилия принесла как прежде, на двоих, так что в тот день я не грызла траву, а наелась вволю картошкой и хлебом. Хоть чему-то порадовалась, ведь от травы зубы у меня и брата покрылись черным налетом, а во рту все время стояла горечь.

Я проснулась от звука шагов. Вилия шла легко и очень тихо, но страх раскрывает уши. Она отвела меня домой, вымыла в большом корыте и расчесала. Волосы за четыре недели в яме перепутались и сбились в колтуны. Те, что не поддавались расческе, Вилия выстригала большими портновскими ножницами. На рукоятке ножниц еврейскими буквами было процарапано: Борух Ратнер. Как ножницы портного из нашего местечка попали к Вилии, я спрашивать не стала, но сердце захолонуло.

В скромном деревенском платьице, с двумя косицами, переброшенными за спину, и кломпах на босых ногах я выглядела как литовская девочка с хутора. Но Вилия считала иначе, критически оглядев меня, она взяла косынку и крепко повязала, так, чтоб ни один волос не торчал наружу.

– О, – с облегчением вздохнула она, – теперь похожа.

Андрюс усадил нас на подводу, Вилия велела мне лечь на дно, и закрыла лицо одеялом. Видимо – все равно опасалась.

Мы ехали долго, целый день. В дороге нас несколько раз останавливали, и Вилия объясняла, что везет больную девочку в монастырь, получить благословение матери-настоятельницы. Ее никто не заподозрил, и к вечеру мы оказались перед монастырскими воротами. Заезжать не стали, Вилия передала меня грузной пожилой монахине, перекрестила на прощанье и подвода тут же тронулась. Я осталась совсем одна в чужом, незнакомом месте.

До тех пор мне ни разу не доводилось бывать в монастырях или костелах. Монахиня повела меня в центральный зал, где шла вечерняя служба. Играл орган, монахини пели, стоя на коленях. Высокие своды тонули в полумраке, тепло переливались свечи, с картин, нарисованных прямо на стенах, ласково улыбались литовские святые.

Настоятельница, пожилая женщина, похожая на тетю Соню из Каунаса, улыбнулась мне такой же ласковой улыбкой. Мне вдруг стало спокойно, впервые за четыре недели перестала звенеть туго натянутая где-то внутри струна. Я подошла к настоятельнице и опустилась возле нее на колени. Она обняла меня и прижала к груди.

– Бедное дитя, – прошептала она, целуя в макушку, – бедное, гонимое дитя. – Не волнуйся, теперь ты дома. Все будет хорошо.

Я не выдержала и заплакала. Бесшумно, чтоб не помешать пению. По вздрагиваниям груди настоятельницы, я поняла, что она плачет вместе со мной.

В монастыре я прожила до самого конца войны. Дел там никаких не было, да и настоятельница не хотела, чтобы я крутилась на виду, поэтому на работу меня не посылали. Каждый день вместе со всеми я выходила на молитву, а потом, после еды, по несколько часов занималась с монахинями. Они рассказывали истории про их Бога и его апостолов. Некоторые просто рассказывали, а другие уговаривали принять католическую веру. По их словам получалось, будто причина наших несчастий в том, что мы не признали их Бога.

«Разве ваш Бог нуждается в признании? – хотела спросить я у монахинь. – Вся Литва, такая большая и богатая страна принадлежит Ему. У него столько верующих, столько костелов, монахов, ксендзов, монахинь. Какое ему дело до признания моими папой и мамой, нищим портным Ратнером, тетей Соней из Каунаса. И почему спустя две тысячи лет после этой истории нужно нас убивать?»

Но мне было хорошо в монастыре, и я боялась снова очутиться за его стенами, одна против немцев и полицейских. Что же делать, что делать?

«Если креститься, – думала я, – кто тогда передаст дальше семейную тайну?»

Спорить с монахинями я не могла, а выслушивать помногу часов их поучения становилось все трудней и трудней. Помог случай.

В одной из книг о житии святых, которые мне давала настоятельница, я увидела картинку: святая Тереза во время молитвы. Картинка изображала лежащую ничком женщину, ее лицо закрывал капюшон, а широко раскинутые руки изображали крест. По-польски я читала плохо, но сумела разобрать, что св. Тереза проводила в такой позе многие часы. Во время молитвы к ней являлась дева Мария и раскрывала тайны жизни и глубины смерти.

На следующий день, во время утренней службы, вместо того, чтоб опуститься на колени, я улеглась такой же позе, закрыла лицо платком Вилии и широко раскинула руки. До моих ушей тут же донесся возбужденный шепот монахинь. Потом я услышала голос настоятельницы.

– Святое дитя, – сказала она почтительным тоном. – Не будем ей мешать.

Спустя несколько минут я задремала – поднимались в монастыре рано, а ложились поздно. Спалось плохо, каменные плиты не лучшее место для отдыха. Судя по ходу службы, сон продолжался минут двадцать, не больше, но руки и ноги успели онеметь. Я немного подвигала ими, пытаясь оживить, только без толку. И так стало обидно, и больно, и жалко себя, что слезы потекли из глаз, а в груди запекло, будто к ней приложили горячий камень. Одна-одинешенька, среди чужих, без мамы, без папы, без друзей, без единой близкой души. Беззвучно шевеля губами, я принялась звать маму.

– Мама, мамочка, мамулечка, – а слезы текли все сильнее. – Приди к своей доченьке, ты ведь говорила, что так любишь меня, услышь мой голос, где бы ты ни находилась, приди хоть на секунду, на мгновение.

Потом я принялась шептать ее имя, как молитву, как заклинание:

– Эстер, Эстер, мама Эстер, где же ты, где, где?

Вдруг, сквозь плотно сжатые веки, я различила свет. Он шел откуда-то изнутри, словно в глубине моих глаз возникло неземное, изумрудное сияние. Такого света мне никогда не

доводилось видеть. Сердце забилося чаще, горло перехватило. Я поняла, что происходит необыкновенное, удивительное, чудесное.

Сквозь сияние начала проступать фигура женщины.

– Мамочка, ты пришла, мамочка!

Но это была не мама. Свет сник, отступил, и женщина предстала передо мной, словно живая. Я и представить себе не могла, что на свете существуют такие красавицы. От нее исходило тепло, точно от свежее выпеченной халы, глаза лучились, будто субботние свечи, а запах она источала, как веточки мирта в праздник Суккот. Не знаю, откуда, не знаю почему, но я вдруг поняла, что передо мной стоит царица Эстер.

Ее губы чуть заметно зашевелились и слова, сами собой зазвучали у меня в голове.

– Ничего не бойся. Все кончится хорошо. Ничего не бойся.

Я чуть кивнула в знак согласия.

– Никогда больше не ложись в такую позу. Сейчас встань, подойти к настоятельнице, и скажи ей, что предмет, который она разыскивает, находится под матрасом в келье сестры Кристины. Когда настоятельница вернется, попроси разрешения самостоятельно брать книги в монастырской библиотеке.

Я открыла рот, чтобы задать вопрос, но изумрудное сияние окутало царицу, и она исчезла.

Ноги совсем занемели, подниматься пришлось с величайшим трудом. Служба подходила к концу, монахини стояли на коленях и тихонько пели. Настоятельница чуть обернулась, и сделал приглашающий жест. Я приблизилась, она обняла меня, прижала себе.

– Как ты себя чувствуешь, малышка? – спросила она ласковым голосом.

Я наклонилась к ее уху и прошептала то, что велела царица.

Настоятельница вздрогнула.

– Откуда ты знаешь? – сказала она совсем другим тоном.

Я молчала.

– Ты это узнала сейчас, во время молитвы?

Я кивнула.

Настоятельница резко поднялась с колен и, шурша накидкой, вышла из зала. Спустя несколько минут она вернулась. Ее лицо пылало от гнева.

– Отправляйся в мою келью, малышка, – приказала она мне. – Дожидайся там. А ты, сестра Кристина, и ты, сестра ключница, пройдете в конторское помещение.

С того дня я переселилась в заднюю комнатку кельи настоятельницы. В отличие от узких, похожих на тюремную камеру, комнатшек сестер, настоятельница занимала четыре, соединенные между собой комнаты, скромно именуемые кельей. В самой просторной она принимала гостей, в средней находилась личная молельня, а в двух маленьких – спальни. Одну из них отдали мне, и я почти не выходила наружу, проводя большую часть времени за чтением книг на идиш, обнаруженных в библиотеке.

В монастыре почитали меня за святую, сестры думали, будто я крестилась и готовлюсь, по достижении совершеннолетия, постричься в монахини. И только настоятельница знала, что это не так.

В первый же вечер, перед тем, как заснуть, я повернула висевшее над изголовьем распятие лицом к стене. Ночью настоятельница бесшумно вошла в комнатку.

– Ты спишь, малышка? – спросила она, наклоняясь к кровати.

Я не стала отвечать. Постояв несколько минут, настоятельница вышла. Открыв глаза, я увидела, что распятие исчезло.

Царица Эстер приходила почти каждую неделю. Как правило, она появлялась после того, как настоятельница задавала очередной вопрос. Поначалу я помогала отыскивать исчезнувшие предметы, или понимать намерения сестер, но, убедившись в точности отве-

тов, настоятельница стала расспрашивать меня о более сложных вещах. Ответы сообщала мне царица Эстер, и я только пересказывала их слово в слово, часто не понимая, о чем и о ком идет речь.

Настоятельница была ко мне очень добра. Я вспоминаю ее с теплотой и благодарностью. Жаль, что она не послушалась моего последнего совета.

Когда от гула приближающейся линии фронта стали подрагивать оконные стекла, царица Эстер рассказала мне, для чего я осталась в живых и назвала мне имя.

– Скоро здесь будут русские, – сказала она, и мне показалось, будто ее всегда счастливое и прекрасное лицо слегка затуманилось.

– Больше мы не увидимся. Передай настоятельнице, чтобы она перебиралась вместе с сестрами в Польшу.

Через неделю после прихода Красной Армии в монастыре появился мой брат. Я с трудом узнала его, так он вырос, и переменялся. Настоятельница не хотела меня отпускать, но брат был настроен весьма решительно. Перед уходом, я передала ей пожелание царицы. Настоятельница заплакала. То ли от расставания, то ли от услышанной новости.

Как я потом узнала, она не решилась последовать совету. Спустя год советские власти расформировали монастырь, а настоятельницу отправили в Сибирь.

Мы вернулись в Салок. Одни могилы, да чужие лица в родном доме. Злобные, испуганные взгляды бывших соседей и знакомых. Каждый поживился, чем мог. Кто убивал, кто грабил, кто по дешевке перекупал награбленное. На нас с братом смотрели точно на выходцев с того света.

Мы пошли к Вилии. Та всплеснула руками, расплакалась.

– Не думала вас снова увидеть, деточки.

На хуторе прожили полгода. Гирш помогал Андриюсу, а я Вилии. Крестьянская работа нелегка, но после двух лет, проведенных в монастырской келье, она казалась мне счастьем.

Однажды вечером, после того, как хозяева заснули, Гирш знаками попросил меня выйти во двор.

– Собери вещи, – прошептал он, прижав губы к моему уху. – Мы уходим.

– Куда?

– Сначала в Каунас, а оттуда в Польшу. А из Польши в Эрец-Исраэль.

В кибуце Дгания жил брат отца. Мы часто получали от него письма с открытками и фотографиями. Он звал нас к себе, но отец не решался.

– Ему хорошо одному, – говаривал он, прочитав очередное письмо. – А мы куда с тремя детьми? Вот подрастут, там посмотрим.

Гирш как-то сговорился с тайными посланцами нелегальной эмиграции в Эрец-Исраэль.

– В Польше нас уже ждут, – шептал он. – А дядя Бенчи встретит в Хайфе, у трапа парохода.

В общем, так и получилось. Но сколько мытарств мы претерпели, пока добрались до Польши! Да и в самой Польше тоже пришлось несладко. И в Эрец-Исраэль хлебнули.

Ципи закашлялась. Приступ никак не заканчивался, она зашлась до слез, лицо посинело, я уже хотел бежать за медсестрой, как вдруг кашель прекратился.

– Иди, – сделала она знак рукой. – Потом договорим.

Честно говоря, больше мне всего хотелось узнать, в какую тайну посвятила Ципи ее мать, и что за имя сообщила ей царица Эстер, но продолжать разговор было невозможно.

* * *

Выйдя в коридор, я несколько минут стоял, совершенно ошалелый, не зная, как отнестись к услышанному. Ко мне быстрым шагом подошел Яков, владелец «О-О». Вид у него был встревоженный.

– Она говорила с тобой про наследство? – спросил он.

– Наследство? Какое наследство может быть у Ципи?

– О-о! – Яков с удивлением посмотрел на меня. Его глаза оловянисто побелели, а губы сложились куриной гузкой.

– Ципи очень, очень богатая женщина. Разве ты не знал?

– Ципи? Богатая? Ты ни с кем ее не перепутал?

Яков усмехнулся. Улыбка получилась кривоватой.

– Ее отец в начале века купил землю в Палестине. Вернее, не купил, а пожертвовал крупную сумму на «Керен Акаемер». Посланники этого фонда бродили по местечкам Европы и собирали деньги на еврейские поселения. Ну, чтобы не выглядеть сборщиками подаяний, они якобы продавали землю. Даже удостоверение выдавали на глянцевой бумаге, с печатью и подписями. Пхе! И что это была за земля? Я вас умоляю, кусок пустыни, по которому бедуины гоняли своих овец. К этим бумажкам никто всерьез не относился, сразу выкидывали, чтоб мусор в доме не собирать. Мои родители, – тут Яков снова усмехнулся, но, уже не скрывая горечи, – тоже пожертвовали, и даже больше Ципино отца. Но у того хватило ума переслать купчую своему брату в кибуц «Дгания», а моя мама растопила им самовар! Пхе!

Он фыркнул, точно самовар, и я понял, что происхождение Ципино богатства для Якова не просто воспоминания, а источник долгих и болезненных огорчений.

– Так вот, лет тридцать эта земля не стоила бумаги, на которой была напечатана купчая. Когда Гирш и Ципи оказались в Эрец-Исраэль, дядя, передавая им письма и фотографии, обнаружил давно забытый им документ. На всякий случай, – Яков снова горько усмехнулся, – практическая сметка в их семье оказалась на высоте, он попробовал выяснить, где находится участок. Пхе! И знаешь, где оказался этот пустырь? На окраине Рамат-Гана! В учетном реестре он был записан на имя Гирша и мэрия, в ожидании законного владельца использовала его под парк. Вообще все парки в израильских городах, принадлежат таким вот неизвестным владельцам. По закону должно пройти сто или сколько там лет, пока государство имеет право забрать землю, и до окончания сего срока на ней нельзя строить. А то ж понимаешь, объявятся вдруг наследники и захотят на своей земельке отгрохать ресторан или виллу, а дом с жильцами снести к чертовой бабушке!

В сорок девятом году участок Гирша уже стоил хороших денег, но дядя не стал его продавать, а отдал в аренду той же мэрии. Ох, как он выиграл на этом, как выиграл!

Яков закатил глаза и зачмокал губами. Богатство вызвало в нем почти сладострастное томление. Смотреть на совсем небедного владельца «О-О» было неприятно. Мы знакомы много лет, но я никогда не предполагал, что за фасадом благообразной внешности кроется столь низкое чувство.

– Пятнадцать лет мэрия платила Гиршу солидную ежемесячную плату. На эти денежки он сам встал на ноги, и оплачивал содержание у нас своей сестры. А потом ассоциация промышленников решила возвести в Рамат-Гане здание алмазной биржи, и выбор пал на участок Гирша и Ципи. Такое событие дружок, называется не везением, и даже не фортуной. Б-жий промысел, вот что это такое! Только Б-жий промысел...

Яков тяжело вздохнул. Он тоже ждал такого промысла, надеялся, будто и на его долю выпадет фантастическая удача, но жизнь уходила, покрытый седыми волосками кадык все крепче оседал на воротничок, а золотые колесницы промысла пылили далеко за горизонтом.

– Как бы распорядился деньгами Гирш, остается лишь гадать. Через неделю после того, как денежки вошли к нему на счет, началась война шестьдесят седьмого года. Гирша взяли в армию, и он погиб где-то на Синайском полуострове. Ципи осталась единственной наследницей. За все эти годы она взяла из банка сущие гроши. Я-то знаю, мне она и поручала свои финансовые операции. За сорок лет та огромная сума, что Гирш отхватил за кусок земли, превратилась в целое состояние. Она богата как Ротшильд, наша Ципи, я, по сравнению с ней просто босяк голоштаный.

Яков замолк и испытующе поглядел на меня.

– Ты ж понимаешь, – он перешел доверительный, интимный тон. – Всю жизнь Ципи провела здесь, в этом доме. Мы ее настоящая семья, ее самые близкие родственники. И...

Тут он замолк, словно поперхнувшись, не решаясь вслух произнести слова, распирающие горло. Этот хорошо поживший дядька с голубоватыми подглазьями и седым пухом на коричнево-блестящей голове усмотрел во мне соперника, и пришел заявить права на долю в наследстве.

– Ципи ничего не говорила о деньгах, – сухо сказал я. – Мы беседовали лишь о войне, и ее родителях.

– О родителях, – эхом отозвался Яков. – Почтенные, уважаемые люди. Правильно мыслящие, думающие о детях.

Несправедливость Б-жьего промысла не давала бедолаге покоя. Я попрощался и вышел из «О-О».

Жужжа по-шмелиному, скользнули и растворились в цветочном мареве израильских будней еще два дня. Каждый вечер я давал себе слово забежать после молитвы к Ципи, и каждый раз проваливался в топкую грязь дел, делишек и подделий, барахтаясь изо всех сил, чтобы не уйти с головой под зеленовато-липкую ряску. В молодости контраст между садистки медленно тянущимся барахтаньем и феерическим промельком дней приводил в отчаянье. За прошедшие годы я не стал мудрее или терпеливей, но научился щадить силы и экономить дыхание.

В час дня, посреди толчеи и сумятицы, я увидел на экране сотового телефона номер жены.

– Звонили из «О-О», – сказала она, стараясь удерживать ровность тона. – Ципи просила тебя срочно придти. Сестра говорит, что она очень плоха.

Рвущаяся интонация сказала мне больше, чем слова. Я круто свернул дела, и помчался к Ципи.

Она сильно переменялась за эти дни. Лицо осунулось, нос заострился, а губы увяли, утратив свой вишнево-девичий цвет. Дыхание со свистом вырывалась из тяжело вздымающейся груди.

– Она приходила, – произнесла Ципи, как только мы остались одни. – Впервые за столько лет.

Я не стал уточнять, о ком идет речь.

Ципи говорила едва слышным голосом и я, придвинувшись к постели, почти прикасался своим лицом к ее сморщенному личику.

– Царица Эстер... Мы из ее рода. Мать той ночью в синагоге открыла мне тайну. Сила молитвы передается только по женской линии. Ее сила...

– Какая сила? – я не смог удержаться.

– В свитке помнишь, Эстер просит царя повесить десятерых сыновей Амана. Помнишь?

- Помню, конечно.
- Почитай внимательно. Их ведь до этого уже убили. Так написано. Зачем же теперь на дереве вешать? Неужели Эстер была такой жестокой?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.